
ПРОЗА МАГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

Алексей Яшин
(г. Тула)

СОКРОВИЩА СМИРЕННЫХ
Повесть о былом и нравоучительном



Советский плакат 1950-х годов

◆ Когда я теперь, во втором десятилетии нового века, рассказываю эту историю, мне не верят, да и сам вспоминаю ее как сон, привидевшийся в пасмурную ночь после обильного жирного ужина. Происшествие это из числа стоящих на самой границе чудесного и яви. Хотя оно допускает, более того, предполагает сугубо материальное толкование, но тем не менее подоплека некой древней, наивной гипнотической магии присутствует здесь. Но — вернемся к описанию случившегося, словоохотливый аналитик пусть уступит на время в моей душе место скрупулезному историографу, что же касается руки с пером... пусть она не увлекается вечно модными парапсихологическими соблазнами, а точно следует за памятью.

◆ Кстати, раз уж вспомнил об аналитиках, то для пояснения нелепости этого рода занятий, а точнее — нелепости, как «модус вивенди», расскажу историю, случившуюся с моим отдельским коллегой К-овым. Надо же было такому случиться в тот день, что весьма интеллигентный К-ов пришел домой с работы на полтора часа раньше, нежели предполагала его супруга. И стоит ли особенно удивляться, что в это время у жены находился засидевшийся гость. К-ов открыл своим ключом дверь, снял туфли, плащ, вошел в единственную комнату; супруги были бездетными, потому располагали однокомнатной квартирой в блочном доме постройки середины 60-х годов, называемой в народе «хрущевкой». Точно ожили в лицах перед глазами К-ова тысячи читанных литературных, но для него, в его реальной жизни оказавшихся со-

вершенно неожиданными, пугающими, коллизий. Здесь следует учесть его комплекс тихого, вежливого, беспомощного в подобных ситуациях, неподготовленного к ним всем ритмом своей предшествующей жизни человека, застигнутого внезапно невероятным явлением супружеской неверности.

Кушетка, еще хранившая вогнутые очертания человеческих тел, растрепанная, полуодетая жена, спешно надевающий пиджак босой гость-атлет... Вот разыгранная перед К-овым сцена реальной, без прикрас и идеализации, жизни. Лицо жены выражало некоторое смущение, но смущение как бы второй степени, когда неловкость испытываешь, впервые попадая в подобное положение, но готовишься попасть в него уже давно. Это означало, что атлет и возможные его предшественники были нередкими явлениями в ее неинтеллигентной жизни с очень интеллигентным мужчиной. Лицо же гостя, возможно от неожиданности, а скорее от досады, вызванной некоторой неподготовленностью его к стереотипной неожиданности, имело не совсем конкретное выражение, эмоции на нем выражены не были.

Секунд пять все трое провели в молчании: К-ов обдумывал ситуацию, жена с атлетом по инерции продолжали заниматься туалетом. Не стоит, наверное, описывать внутренние бури, а скорее всего — внутреннее спокойствие прелюбодеев; сам К-ов, делясь со мной по-дружески, за парой бутылочек гурджаани, привезенного им из командировки в Телави, неприятным событием, махнул рукой: бог, дескать, с ними! По романтическим описаниям вы сами знакомы со схемами поведения подобных пар: преуспевающий у женского пола атлет и матерая, скучающая без детей в замужестве женщина — знакомы, очевидно, еще с двенадцатилетнего возраста, либо, если нет страсти к чтению, то знакомы по жалостливым рассказам потерпевших коллег, друзей, просто незнакомых, пьяных исповедывающихся людей.

Здесь же герой — несчастный К-ов, нас интересуют бури только его души; еще раз повторим: сцена такого рода была для него первой в почти сорокалетней жизни. Как уже домыслил умный читатель, в душе К-ова в первый момент возникла, далее развивалась, кульминировала, утихала борьба между интеллигентской рефлексией и патологическим инстинктом мщения обманутого, обокраденного в самом сокровенном самца. Вот сокращенная передача этой борьбы, как излагал ее чуть-чуть захмелевший К-ов:

— Убить мерзавку, подстилку... Отхлестать ремнем, выгнать раздетую на улицу. Только так и сделаю! Мерзкая, бессовестная, зажившая в безделье (печатала дома на машинке для «Бюро добрых услуг») и сладострастье потаскуха. Рушится устоявшаяся жизнь, теряется вера в человечество. Ничего святого. А я? — Простофиля! Как раньше не замечал? А может все это время, все четырнадцать лет брака я делил эту (подспудно: чертовски красивую и вальяжную!) женщину с разными... может быть нечистоплотными, пьяными, наглыми, спидофильными, смеющимися вместе с ней надо мною мерзавцами?

А может я ошибаюсь? — Ведь все бывает в жизни, может сейчас одна из редчайших, но возможных ошибок — исключительный случай? Может простое сочетание случайностей? — Я занят своими делами, живу в своем мире, мире интеллекта, хотя технического, но — творческого! Далеко не пренебрегаю искусством, литературой тож, общаюсь с интересными людьми из совершенно различных, но высокоинтеллигентных сфер. Дома только ночью да поздними вечерами, детей нет. Опять же может я не способен удовлетворить ее, женщину достаточно страстную, чувственную, живущую не в коллективе, не в большой семье, почти затворницу? А ведь она в бальзаковском возрасте, сложном, щепетильном... К-ову припомнились те многочисленные, слепо отпечатанные на множительных машинах брошюры, что поочередно читают работающие с ним в отделе девушки, готовящиеся к активной половой жизни.

ни. К-ов и сам — для повышения интеллекта — читал их с удовольствием, с доверием относясь к аргументированному мнению авторов: д-ра Монтагазы, Хирга, Харгинса, несколько сомнительных д-ров Кинси и Мак-Крекара.

Да. Скорее всего это пошло от ее постоянной неудовлетворенности; физиология своего требует. Вот если бы дети были? А тут как раз встретился может и неплохой человек, обаятельный, привлекательный как мужчина, умелый любовник...

Но может не было еще ничего? Может это он настаивает, а она мечется, терзается, но твердо хранит верность ему, К-ову, мужу? А может...— И тут К-ов додумался до умильного: пришел, как часто раньше бывало, заказчик, аспирант, например, поработать вместе с машинисткой над рукописью диссертации, а человек малоимущий — на сто рублей стипендии живет,— снял ботинки в прихожей, носки единственные накануне в стирку отдал, вот и прошел в комнату босой... Пиджак снял для удобства работы, при виде хозяина застеснялся — человек-то интеллигентный, рафинированный! — стал пиджак надевать. А жена? — Она была по-домашнему в халате, при виде же гостя засмушалась своей замурзанности, зашла за шкаф переодеться, только сняла халат — ан муж вошел!?

Но что характерно для человеческой психики, психики человека интеллигентного — особенно неустойчивой, волна необоснованного доверия тут же захлестнулась еще большим валом взревшей ярости:

— Ну и что из того, что даже не было?! Но ведь мысль была! Ах ты, мерзавка! Но ты — тройне мерзавец! «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем» (Матф., гл. 5, ст. 28),— думал начитанный от писания К-ов,— «А ты, ты некогда заботливая, ласковая жена моя, ты смогла меня изменить?» — входил в патетику К-ов.— «Но как, прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих?» (Иезикиль, гл. 16, ст. 32). Как она может? Но глаза ее — зеркало души? Что скажут они? — Увы, глаза жены точно соответствовали вердикту священной книги: «Наклонность женщины к блуду узнается по поднятию глаз и век ее» (Сираха, гл. 26, ст. 11). Да-а, глаза его жизненной спутницы если не светились наивностью Рахили, то это была не только ее вина. Перед К-овым предстала женщина, по своей решительности способная тотчас обратиться в суффражистку, в амазонку, а если нужно — в директора торговой базы. Словом, она вполне управляла цветом глаз и кинематикой двигательных частей их.

— О, мерзкие-премерзкие людишки! Где истина, где правда? Где обман, а где святая искренность? *Post coitum omne animal triste*,— латинизировал гнусно обманутый интеллигентный муж,— после совокупления каждый зверь печален: но и печали нет на их мерзких лицах?!

Глубокая интеллигентская безысходность овладела К-овым:

— Как мне разрубить это узел, как ответить достойно на их обезьяньи мерзости, на издевательство надо мною? Чем я все это заслужил, наконец?

К-ов вопрошал, как уже полтора столетия вопрошает сам себя по любому поводу истинно российский интеллигент.

— Ну-у, ударю его, избыю ее, всыплю, тряпки ей вслед выброшу,— размышлял К-ов. Но непосильно тяжкий груз невиданных им в жизни решительных действий делал мысль К-ова о суровом мщении вялой, заранее неосуществимой. Была боязнь физической силы соперника, отвращение к кулачным расправам, грубым матерным ругательствам.— Все качества, благоприобретенные многими поколениями предков-интеллигентов (Вел род от сельских дьячков — позднее земских деятелей).

— А зачем бить, кричать на них? — Уже в логическом забытьи думал К-ов,— ведь нет в этом смысла! Ударишь его — сам стократ пострадаешь, его озлобишь, карты ему в руки даешь, ведь женщины больше любят бьющих, нежели битых. Это у

них в роду, впрочем, в полном соответствии с природой,— тут же поправился любящий определенность К-ов.

— А бить ее? Ну, как бить женщину, пусть даже мерзкую, продавшую тебя? Оскорбишь ее, так она еще пуще взовьется. Бить — значит дать ей свободу открыто плевать на меня, тогда даже элементарных приличий не будет блости. К тому же слезы, истерики, родственники увещевать начнут...

О, господи! Да выгнать-то можно только символически: квартира однокомнатная, «хрущевка» опять же — вовсе не разменяешься. А если чудом, по суду естественно, разменяешь на комнаты с подселением, так живо попадешь в логово воров, проституток низшего разбора, пропойц. Сам повесишься.

Раза два еще посетила К-ова волна ярости, но именно бытовая логика добила его, поэтому К-ов произнес первую свою с момента прихода фразу, произнес тихим голосом, потупившись, скороговоркой:

— У тебя гость, Наташа? ...Да-да, познакомь. Школьный еще приятель? Очень рад, сейчас люди все торопятся, редко кто заглянет к старым знакомым. Уже уходите? Соревнование начинается в пять ноль-ноль? Да-да, понимаю, спорт — это здоровье трудящихся... Ничего, заходите, премногим обяжете. До свидания, Давид Гарикович!

— Голубушка, Наташенька,— все мямлил К-ов, не поднимая опущенных долу глаз на цветущее всеми прелестями второй молодости, сильное, разгоряченное т а й - н ы м свиданием, полуобнаженное тело жены, на презрительные дымчатые, полуприкрытые ресницами от все еще проигрываемой страсти глаза,— я пораньше с работы ушел, взял вот билеты на сегодня в Концертный... Если у тебя головка от работы не болит, то через пару часиков надо бы собраться: хорошая программа, тебе понравится... Брамса Второй концерт и Первая Малера.

♦ Так вот, этот добрейший душка К-ов в определенном смысле один из невольных виновников происшедшей со мною истории... Случилось это еще на закате социализма, но сомнение в истинности увиденного, перечувствованного мною не покидает встревоженную не на шутку душу и по сей час. Что это было: розыгрыш? Или явление массового гипноза? Может, сомнение в твердости собственного разума?

Я тогда попал по службе в скверную историю, начало которой гнездилось в обоюдной неприязни с завлабораторией, пакостником препорядочным и изрядным, но далеко не исключением из обычного правила. А потом — это невероятное происшествие, о котором до сих пор по учреждениям города ходит глухая молва, хотя случилось еще в эпоху безгласности, так что все очевидцы и прямые свидетели странной истории поприжали язык. К тому же, как будет ясно из нижеследующего, в очевидцах и свидетелях остались совсем не простые люди... Но — по порядку.

Известно, что почти все чудеса случаются под конец года: естественного и планово-финансового. Чудеса же, несмотря на внешне тихую, серую даже жизнь наших учреждений, случаются самые различные. Такое происходит, что ни в одном сне пьяному человеку не приснится. Невольно, если ты, конечно, беспартийный, думается: сам господь бог, скупой отпуская диковинку в течении календарного года, в предновогодние дни торопится довыполнить, а если можно — то и перевыполнить свой промтехчудплан. Чем еще объяснишь?

Первые признаки чудесного происшествия обозначились в конце ноября. Именно тогда по всей стране зашелестели слухи об очередной активизации НЛО — летающих тарелок, которые, как известно всякому школьнику, появились на Земле с фараоновых времен. Но раньше — повторюсь: времена-то были безгласные, в газетах, по телеку чередовались сообщения о запуске героев-космонавтов, репортажи об успехах хлопководов-ударников, о награждении разных там членов, так что правду о

международных событиях и грядущих повышениях цен на водку народ узнавал только по слухам — тарелки объявлялись в чужих пределах, преимущественно к востоку от Суэца, к западу от Балканской гряды и линии Одер-Нейссе (Одра-Ниса). А теперь как прорвало! Летающая посуда на два часа зависала над Можайским шоссе, выключив зажигание у скопившихся автомобилей. В среднеазиатской пустыне, кстати числившейся в школьных учебниках гигантским рукотворным оазисом — орошаемым хлопковым полем, нашли отпечатки присаживающегося по своей нужде корабля, а где-то, ошарашено умолкнув, жили двое парней, которых астронавты с НЛО забирали к себе для френологических обмеров.

От острова Врангеля до Кушки ходили по рукам стенограммы лекций об НЛО, прочитанных то ли в Зеленограде, то ли в Звенигороде... И прочая завлекательная чушь. В нашем учреждении, хотя не академическом, но все же солидной репутации НИИ, служащие, конечно, ничему не верили, смеялись над Яковлевым — яростным агитатором тарелочной идеи, суть которой сводилась к тому, что НЛО существуют, соответствующие службы постоянно ведут их наблюдения, а чтобы не вызвать общемировые панические настроения трудящихся всего мира, еще в начале 60-х годов ведущими государствами и их сателлитами был подписан тайный Договор об официальном непризнании НЛО, как реальных объектов. Слушая брань в адрес своей теории, Яковлев саркастически улыбался, глаза его таким бесенком сверкали, возражали: придет мое время!

◆...Пришло его время. Тридцать первого декабря, как повелось на Руси со времен петровских учреждений-коллегий и вплоть до теперешних отрезвляющих дней, все служащие пришли на работу со свертками в авоськах и полиэтиленовых пакетах; мужчины посолиднее проходили мимо все понимающих, снисходительно улыбающихся вахтеров (люди тогда вообще были в массе своей намного добрее) в расстегнутых пальто, слегка наклонившись грудью вперед, как при сердечной одышке. К двенадцати дня свертки и прочее материализовалось в накрытые по отделам, лабораториям столы. Глаза мужчин засверкали, тамады уже разливали по перв... как внезапно стены учреждения зашатались, столы спиритически задвигались по завибрировавшему полу.

— Землетрясение! Землетрясение! — закричали женщины, но пала гигантская тень; выглянув из оконных форточек, наблюдатели ахнули; над зданием, закрывая зимнее солнце и полнеба впридачу, повис гигантский круг.

— Тарелка! Тарелка! — вновь завизжали женщины. Все побросали непригубленные стаканы, только заторжествовавший, доселе непьющий, ни грамма с рождения не употребивший Яковлев, спокойно допил до доньшка, до последней капли, весело подтвердил:

— Нельзя не верить очевидному!

Тарелка плавно спланировала, присела на плоскую учрежденческую крышу. Выпала вовнутрь выбитая чердачная дверь, в коридоры этажей вошли энэловцы. Было их два десятка, невооруженных, ростом малых, ликом ужасных. Служащие в страхе прилипли шпалерами к коридорным стенам. Из делегации выступил ответственный энэловец с пятью четырехлучевыми космическими звездами на мундире:

— Люди, — электронным голосом произнес он, — вам выпала большая честь: для психофизиологических экспериментов мы на год забираем с Земли все ваше учреждение. У нас вы проживете ровно 365,00 дней вашей обычной жизнью.

Из рядов оробевших служащих с ответным словом выступил было потерявший всякое представление о субординации агитатор Яковлев, но вышедший на шум из своего кабинета Начальник отстранил его, полномочно спросил:

— С Главком согласовано?

В ответ энлэзовский начальник зачитал вслух гарантийное письмо, подписанное всеми нужными инстанциями, в том числе... Папой Римским, из чего следовало заключить: в учреждении работал скрытый католик. Парторг и ответственный за внутриобъектовый режим Иностранцев переглянулись, взяли на заметку.

— Время — деньги, ребята! — бодро закончил чтение энлэовец, видно перепутавший н а ш е учреждение с заокеанским,— марш на Корабль!

Служащие, разобрав пальто, шапки, а более догадливые — бесцветные бутылки, бутерброды с кумжей и сервелатом, в беспорядке устремились на чердачную лестницу, началась давка: пронесся слух, что первые сто вошедших на Корабль получают по десятке внеплановой прибавки (Слух оказался ложным). Начальник последним покинул учреждение и вошел на крышу с толстой папкой «К докладу».

◆ Со страхом поднимались служащие по винтовой лестнице, но... в брюхе зловещей тарелки их ожидал сюрприз — точно воссозданная обстановка покинутого в 12.06 учреждения, даже столы в отделах, лабораториях были банкетированы. А поскольку число белых бутылок вместе с принесенными наиболее догадливыми чудесно удвоилось, пока сбившиеся в стайки женщины взволнованно перешептывались, подкрашивались, мужчины успели с горя пообедать и затянули песню о волжском бунтаре. Но самое удивительное было впереди: в половине второго по отделам, лабораториям прошли сдружившиеся учрежденческий и энлэовский Начальники:

— Женщины могут идти домой. Остальные присутствуют на рабочих местах до 16:00,— ошарашили они служащих.

Действительно, на тарелке был воссоздан тот же город, дома, мужья, жены, дети, разумеется — злые тещи. Правда, кое-кто возмутился: это, мол, аморально жить с чужими женами, а если дети появятся? Что мне, алименты платить! Но их успокоил энлэовский начальник:

— Нет, ребята... тьфу! То есть, товарищи, не аморально. Все эти жены с мужьями лишь искусственные копии, функциями деторождения не наделены, так что вам, в определенном смысле, учитывая ваше хроническое отставание в контрацептивной культуре, будет еще проще... Будьте счастли... да что за черт! Будьте спокойны!

После такого авторитетного заверения жизнь на тарелке потекла как в правдоподобном сне. Учреждение заработало. Начальник собирал совещание за совещанием, Дни качества, даже умудрился слетать в командировку на Землю, в Главк — за текущими планами и полугодовой премией для учреждения. Петров и Иванов попали в вырезатель, Чепурнов схоронил искусственную тещу — эквивалент умершей на Земле, а Сидоров схлопотал строгача за аморалку с искусственными же женщинами... Все шло как на Земле.

◆ Отметелила тарелочная зима, зажурчали местные искусственные ручьи отмерзающей канализации. Когда псевдоземля освободилась из-под снега, учрежденческий Начальник вышел из кабинета, отправился на прием к энлэовскому командору; произошел разговор:

— Лето на носу, посевная...

— Ну и что? Мы что-нибудь не учли?

— Вот-вот, промашка вышла. Совхоза-то подшефного нам до сих пор ваш райком не выделил, а у нас в соцобязательствах 25 000 человеко-дней отработать записано.

— А-а! Вспомнил. Будет вам совхоз; как он у вас на Земле назывался, номерной — по дате или по съезду? А, по старинке, Нарышкино. Ну, мы для оригинальности назовем его «Энлышкино»! Готовьте народ, да медсправки на освобождение тщательнее проверяйте, чтобы этих... симулянтов не было; мой зам как-то выборочно

проверял картотеку вашей поликлиники, так черт-те что творится: Иваненков и Петренков — здоровые лбы, помню я их хорошо — загодя освобождения взяли: у одного аллергия к запаху деревенского, из свеклы, самогона, у другого — дисгидроз к родниковой воде! Действуйте!

На следующее утро первые сто человек выехали на крытых грузовиках в Энльш-кино на ремонт техники и затаривание мешков. Иваненков с Петренковым везли запасы «Столичной» и городской хлорированной воды в бурдюках.

Отошло тарелочное лето. Служащие загорели, окрепли на свежайшем кондиционированном воздухе. С их помощью Энльшкино недопустимо успешно выполняло план годового севооборота. Однако Начальник не хотел легких путей, снова сходил к командору: дескать, очень уж гладко моделируете реальные условия и т.п. Рассерженный домогательствами, тот ударил в августе градобоем, в сентябре — тропическим ливнем, а в октябре вовсе заморозил поля — досрочно начал зиму. До самого конца пленения хронически простуженные служащие долбили ломami грунт, выкорчевывая искусственную свеклу. Захотелось домой, в мирную земную зиму, опротивели бесплодные искусственные жены, заскучали искусственные мужья, всем хотелось к настоящим. Учреждение заболело тарелочной ностальгией.

Наступило 12.06 тридцать первого декабря. Прошло ровно 365.00 дней эксперимента, НЛО шел на снижение. Столпившиеся у иллюминаторов служащие с еле слышимыми рыданиями наблюдали надвигающуюся крышу родного учреждения.

...Гурьбой выкатились они из брюха проклятого Корабля, весело разбежались по отделам, лабораториям. Их встречали запыленные, но такие родные столы, стулья, плачущие от счастья встречи натуральные родственники. Тарелка же с шипением поднялась, улетела в чужие края — к парням и ребятам.

♦ Самое гнусное дело тарелки: все служащие потеряли память о событиях прошедшего года, жизнь потеряла 365 дней. Только порой им мерещились во сне блестящие угольные ямы звездного неба, под которым дрейфовал НЛО. Понятно, что лишь Начальнику память была оставлена: для информации Главка. Но Начальник не будет каждому встречному раскрывать душу, энльзовцы знали кому доверять.

Говорят, с тех пор во всех учреждениях города прогулявшие день-другой служащие оправдываются тем, что-де их похищала для экспериментов тарелка.

— Таким у нас не верят! — отвечают табельщицы и недрогнувшей рукой представляют прогул. Только в нашем (Увы! Для меня — бывшем...) НИИ порой что-то прорезывается в памяти учетчиц рабочего времени; они верят жертве забористой «Стрелецкой».

*Под Новый год скопление чудес:
Петров «поймал» в лото шесть номеров,
А Иванов чуть жив и зол как бес —
Два дня в тарелке жил у облаков.*

*Петрову состоянье Иванова не понять,
Сам пьет с неделю лишь коньяк,
А тот жену свою не смог узнать,
Его ж Петров не узнает — вот и друзьяк!*

*Петрову повезло, а друг сел в лужу,
Промучился в тарелке на ветру, на стуже,
И утешения нет, что-де эксперимент.*

*Напился с премии завистник Иванов,
Хоть не имел приличных сам итанов,
Петрова укорил: «Гнилой интеллигент!»*

— Такой стихотворный пасквиль учрежденческого поэта Валерки Овцовского долго гулял по отделам, лабораториям. Но, скажете вы, как я-то смог восстановить в памяти столь засекреченное событие, его существенные детали? — Тут дело тонкое, не спрашивайте, не отвечу, ибо могут запросто приписать должностное преступление, хотя Начальнику не следовало бы перед праздничными днями, когда в учреждении организуется круглосуточное дежурство рядовых, никак не ответственных служащих, оставлять почти-что на виду копию отчета в Главк...

◆ Видно, что-то я такое невпопад сказал своему врагу-завлабу во время энзэвского эксперимента, тот, видно, тогда же передал это «что-то» Начальнику, сохранившему память о пережитом годе межзвездных странствий. Уже дома, на Земле, Начальник отрицательно отозвался обо мне... словом, меня вынудили, «ушли» из лаборатории методов испытаний и вообще из НИИ. Вот тут-то помог К-ов, давний, еще школьных лет знакомый, сосед по прежнему моему дому, хотя я с ним давно отношений особых не поддерживал: здравствуй, до свидания, как поживаешь? — Дочь уже в школе учиться? — Смотри-ка! Как с работой? — Да-да, в порядке...

Однако поборол гордыню, да мужик он душевный, поговорил с ним. Тот в душе (не в лице!) поморщился чуток, но тем не менее по протекции К-ова, или как у нас официально говорят: по системе рекомендаций, я оказался в СКБ при механическом заводе, даже выиграл десятку в жалованье. И обстановка там намного спокойнее: народ с Главком, с наукой этой самой слабо связан, все больше по цехам, с производством, потому не нервничают, потому благодуще, человечнее словом.

Опять же мой протезер играл в СКБ если не первую, не вторую, даже не третью-четвертую, но так примерно четырнадцатую-шестнадцатую скрипку, а это в малых конторах придает определенную устойчивость опекаемым сиротам вроде меня. Да не такой уж я был сирота, просто вычеркнутый из жизни год на НЛЮ, да полгода после этого холодной войны меня допекли до сумеречности мыслей и подозрительности, а так вообще... даже жена не пилила: мол, тот-то уже зам Главного, другой вторую квартиру и третью машину поменял (про замену жен они почему-то всегда умалчивают); квартира, дескать, цветом обоев не устраивала, а машины — резвостью нрава. Ну, да вы знаете, чем обычно жены нашего брата, служащего, допекают, когда не с той ноги встанут.

Нет, все было при мне в скромном, но устойчивом балансе: в сорок лет имел должность руководителя группы расчетчиков без собственно группы, что означает оклад сто девяносто плюс 30 % премиальных, две комнаты в квартире с родственницей жены, незамужней, уже не угрожавшей замужеством, на удивление тихой, спокойной, дочь-семиклассницу... так что был устойчиво-усредненным служащим. Главное — жена не пилила, а они ведь на эту среднюю устойчивость реагируют агрессивно, как лакмусовая бумажка, листики фенолфталеиновые.

Я потому себя так подробно рекомендую, чтобы вы не подумали предвзято: неудачник, мол, разобиженный судьбой человек, не такое мог наяву вообразить себе, а то может из какого сарказма рассказывает небылицы, порочит приличных людей! Избави бог! Мне-то своего хватает, дай тот же бог вам жить в подобном спокойствии ума, семейно-бытовой устойчивости, что у меня за душой. Дай-то, бог... И по характеру я спокойный, ни в какие авантюры, с кооперативами там, еще с чем новомодным, не лезу, ибо знаю: за большим погонишься — без малого останешься, вот как,

например, молодежь нынешняя, но это особая история: поучительная в назидании примером, потому остановлюсь особо.

◆ Сам я — в наше напряженное время всеобщего трудового порыва это большое достоинство — почти не пью, только пивком балуюсь, да и то больше из-за удовольствия общения с людьми. Каких только историй не услышишь в пивной за Носковским мостом?! Такого порасскажут, что в изумлении весь вечер размышляешь: что это? Пивной ли дурман фантазию разбудил либо действительно услышал сегодня?

Так вот и тогда, как раз накануне увольнения из НИИ, ехал я на «восьмерке», не помню откуда, куда, но июльская духота, пекло в неторопливо тащемся трамвае сморили меня окончательно. Не выдержав такой пытки, соскочил перед мостом, зашел освежиться к тетя-Лене, в ту самую знаменитую Замостовскую пивную при бане. Уже через пяток минут как-то незаметно завел исповедь сосед по столику, молодой, но припухший парень, по виду — нашего, инженерного профиля, что подтвердилось вскорости. В рассказе его перемешались быль и небылицы, теперь же, по прошествии времени, я могу восстановить лишь суть слышанного, опуская забавные авторские комментарии, выводы.

Молодой специалист Корыстин в пятницу получил аванс: пятьдесят два рубля, а к понедельнику вчистую потратился.

— Как же быть? — размышлял Корыстин, — как жить две недели без этого... без аванса?

Он мучался до обеда, а в половине первого в отдел впорхнула общественница Люда, начала бойко собирать со служащих по тридцать копеек «на крест». На какой? — Этого Корыстин, мучимый похмельем и безденежьем, не расслышал. В таком состоянии его не прельстили даже Людочкины лодыжки, по общему приговору — самые обворожительные в учреждении. Грубо отказавшись платить за крест, Корыстин сделал счастливое открытие; мысль была легка, ясна, почти кристальна:

— Вот собирают кому-то на крест... вчера собирали на памятники, на той неделе — автомобилисты что-то трояками размахивали... на что бы еще собрать? — Корыстин вспомнил радостный детский праздник «День птиц», вспомнил, как неразумным еще октябренок помогал старшеклассникам развешивать скворечники: те на деревьях, а он на подсобке внизу, снизу подавал палочки, молоток, гвоздики. Такое тихое, радостное, счастливое детское нахлынуло на душу, что Корыстин уткнулся неразумной своей головой в кипу срочных ведомостей, зарыдал, пугая соседей по отделу. И пришло решение, закипела работа у разомлевшего от детских видений Корыстина: догадливого, но увы! — неразумного младенца в инженерном чине.

Он вырезал из ватмана форматку, на отделенческой машинке отпечатал титульный лист бланка сбора членских, а равно вступительных взносов первичной организации «Общества поощрения разведения волнистых попугайчиков». Себя вписал заместителем друга Никанорова, кстати тоже совершенно случайно оставшегося без аванса, — казначеем, а ответственным председателем заочно назначил известного учрежденческого спортсмена, улетевшего на полугодовые сборы в Пицунду. Подложив под титул листов пять разграфленной бумаги, он подшил бланки ведомости в папку. На обложке ее художественно одаренный Никаноров изобразил стилизованный пионерский праздник.

В три часа пополудни начался обход учреждения. Инициаторы входили в комнаты, громко приглашали вступать во вновь организуемое добровольное общество. К их удивлению, лишних вопросов не возникало, просто служащие, только что обобранные крестовоздвиженцами, сварливо бранили сборщиков от расплодившихся благотворительных обществ — при их-то низком жалованье! — но, памятуя о предстоящей в этом году аттестации, привычно вынимали кошельки:

— Сколько?

— Пятнадцать вступительный, десять — книжка, еще раз пятнадцать за значок, тридцать годовых. Итого: семьдесят копеек с души... Вступайте, товарищи, вы можете нашим детям, своим то бишь...— убеждал Корыстин.

— А на собрания ходить не надо?

— Ради бога, какие собрания?! Будете в значках щеголять и по тридцать копеек в год платить.

— Права какие? — поинтересовался занудливый Денисов. Корыстин было слушался, но находчивый Никаноров симпровизировал:

— Участие в экскурсиях по обмену опытом в рабочее время — для активистов, бесплатное пользование при членском стаже свыше 25 лет; на всякий случай — пользование чем? — Никаноров скрыл от коллектива. Послышался одобрительный ропот: народ любил бесплатное в рабочее время. Инициаторы едва успевали сдавать по тридцать копеек с мятых трудовых рублей.

— Поздравляю вас, товарищи, со вступлением в наше Общество,— сообщали на прощание сборщики,— значки и книжки через полгода: Областной Совет задерживает!..

К звонку они собрали 182 рубля 62 копейки. По дороге из учреждения Корыстин с Никаноровым долго анализировали, размышляли: откуда взялись эти 62 копейки, но так не додумались. Лишь впоследствии, на товарищеском суде, все разъяснилось: хитроумный Денисов всучил вместо гривенника новенькую блестящую двушку, чем он много похвалялся, даже требовал от месткома льготную путевку «за бдительность».

А отправились после работы усталые приятели ужинать с водкой. Ужинали до самого закрытия предприятия общественного питания, до полуночи, ужинали истово, долго, тщательно, не только с водкой, но с шампанским, с десятилетней выдержкой коньяком (курс цен до антиалкогольной кампании позволял), с заказной музыкой, с ласковыми юными девушками, очень веселыми, остроумными. Сама ресторанный директриса улыбалась, когда пьяный в дым, щедрый Корыстин плясал соло под «Йес ту дей», разбрасывая в публику рубли и полтины, призывая вступать в кремационное общество имени Уатта.

После ужина, наняв два таксомотора и поливочную машину для кортежа, они поехали в гости к веселым девушкам, где до самого рассвета беседовали о поэзии.

Так как новые подруги, высланные из Москвы для принудработ на щебеночный завод, жили в соседнем городке, то наутро приятели, дрожа от холода, головной боли, спазм желудка, возвращались опять на такси, но уже на одном — подъехали к проходным учреждения, расплатились последней пятеркой.

Перед обедом, не сговариваясь, встретились в коридоре, продолжили прием новых членов; работали без обеда, к звонку набрали сумму, половинную от вчерашней: удой резко сократился ввиду крайне помятого вида Корыстина и синяков-засосов на шее Никанорова.

Ужинать, не мудрствуя лукаво, отправились на прежнее место, но на сей раз проснулись наутро не у девушек, а... в милицейском участке. Им объяснили, что они (это они-то, краса учреждения, интеллигентнейшие кавээновцы Корыстин и Никаноров!) разломали электроорган ресторанный оркестра, пытаясь в четыре руки исполнить «Нидерландскую застольную», разбили восемнадцать фужеров, три оконных стекла, нецензурно обругали зава холодным цехом: тот не смог внятно объяснить им, почему заливной судак не машет приветливо хвостом — за что деньги-то платим? — Все это было записано в протоколе. Вышла большая неприятность.

Через полмесяца, нарзанно свежие, они вернулись на работу, прочитали приказ об увольнении. Заочно состоявшийся товарищеский суд, учитывая молодость обоих

и отсутствие рецидива, решил уголовного дела не предпринимать, только вычесть собранные ими суммы из расчетных денег: компенсации за отпуска и недополученной зарплаты. Так как Никаноров совсем недавно отпуск использовал, то с него дополнительно взыскали сорок три рубля 03 копейки. Кстати, возвращенные суммы пострадавшим было решено на профкоме не раздавать, ибо для этой операции не хватало восьми копеек, зажиленных Денисовым, а пустить в счет сборов по различным Обществам на следующий год.

Корыстин поначалу было не поверил в увольнение (Как, это же как! Меня, молодого специалиста и вдруг уволили! — возмутился он), потому прошел в свой отдел; за столом его сидел новый, совсем молодой специалист, задумчиво заполнял ведомость. Корыстин нагнулся, прочитал отпечатанный на машинке заголовок: *Общество содействия эксгумации таймырских мамонтов. И ниже: Первичная организация...* Он понял, что действительно уволен.

♦ Так вот, я-то начинал свою службу в учреждениях еще в те времена, когда шутить дозволялось только по поводу погоды, так что никаких скандалов, срывов, прочего себе не позволяли. Но что верно, то верно: зол был как Люцифер-свергнутый, да кто на моем-то месте будет добр, когда полгода нервы в тисках напряжения, когда тебя нагло, в открытую выживают с места, где проработал почти полтора десятка лет, просидел не один стул, вжился в каждую шелочку своей лаборатории, а тут пришел новый завлаб, сопляк еще, и — попал я под резвую метлу. Тьфу!

Но как только перешел в СКБ, так успокоился, удивительно быстро вошел в струю. Но удивительное не было и столь удивительным, я уже говорил: народ здесь тихий, спокойный, ибо все начальствующие должности наглухо забиты всяким деловым, родственным народом, возможности прыгать по ступенькам вверх никакой. Поэтому люди себя спокойно чувствуют, не суетятся, не толкают друг друга плечами, не подсиживают. Некого подсиживать, а все, кто с карьерными помыслами, так те давно смотались на более хлебные места; остался народ сибаритствующий на все свои сто тридцать — сто девяносто плюс стабильная премия. Прямо как в Крыму климат: мягкий, спокойный, здоровый.

♦ Вот так — простите, все повторяюсь, повторяюсь, но это для пушшего сосредоточения мысли, точного, де-факто, припоминая — очень быстро, ненавязчиво вошел в отношения вроде бы с новыми, доселе неизвестными, но уже по самому духу, по характеру своему близкими, почти что родными людьми. Бывает ведь так; все потому, что обстановка спокойная, не рваческая.

Стол мой уютно поставили в уголок, не на виду. Ни я, ни мне никто не мешает. Начальник сектора, то есть начальник всех тех, кто сидит в нашей комнате, оказался из категории веселых, «порхающих». Редко-редко видели его на месте: то он на совещаниях-заседаниях, то на очередной — без конца им число — учебе по повышению начальничьей квалификации, без того высокой, то в командировке, в отпуске, а в остающееся время вовсе непонятно где. Так что к постоянному его отсутствию привыкли, освоились, всю работу выполняли без его видимого и невидимого присутствия. Картина, впрочем, не такая уж редкая, чтобы расписывать предельно подробно. А был он где-то в третьей ветви родства главному конструктору, потому не возникало ненужных вопросов, нежелательных разговоров. Такой начальник — символ, залог спокойной жизни его подчиненных. Я, честно признаться, познакомился с ним лишь на втором месяце работы в СКБ. Но это — к слову. Он жил предельно своими интересами, в своем «верхнем кругу», поэтому в души своих людей не лез, но не от чуткости или там, скажем, деликатности, а от полнейшего равнодушия и благодуш-

ной терпимости, что есть признак человека удачливого. Ну бог с ним, нам не детей вместе крестить, тем более, что он человек партийный; лично я был доволен таким начальником. Вообще-то он был из тех, кто, по созданной моим прежним, по НИИ, коллегой Яковлевым теории жизнеустремления, успешно карабкался уже через вторую стену; я же, мои коллеги, мои славные, тихие товарищи по работе когда-то, очень давно перебрались лишь через первую стену и, успокоенные, не покушались на преодоление второй. Чтобы не наводить тень на плетень, вкратце перескажу эту любопытную теорию непризнанного гения мысли Яковлева.

◆ От рождения он (то есть я, ты, сосед по лестничной площадке, тесть твой и т.п.) не был биологическим феноменом, психологическим исключением в человеческой природе. Это — суть, предпосылка теории Яковлева. Держатель мира проделал с ним рядовой эксперимент, какой он проделал до этого с несколькими сотнями цивилизованных поколений, будет продолжать исследовать вплоть до гибели людского рода либо до его коренного перевоплощения.

Он был рожден в замкнутом концентрическом пространстве, в некотором коридоре с двумя изогнутыми стенами: внутренняя стена была выпуклой в сторону точки наблюдения; казалось, что внешняя стена, если идти вдоль нее, постепенно отделяется от внутренней, расширяет мир. Это обычный эффект кривых стен в замкнутых помещениях. Я сам наблюдал его у знакомых в одной старинной московской квартире рядом с метро «Баррикадная».

Если на полу, в любом месте коридора, оставить отметку, например, цветным школьным мелком, то, пройдя по криволинейному коридору некоторое расстояние, снова вернешься к отметке, то есть замкнешь свой путь.

Вопрос, и вопрос существенный: свою ли отметку ты найдешь, а может схожую с ней, оставленную одним из твоих бесчисленных предков? Но это уже категория философии, а нас интересует только психологическая, эмоционально-нравственная окраска жизни. Здесь, вообще говоря, подразумевается, что каждый человек в коридоре живет изолированно, как в математике есть понятие абсолютно изолированной точки; понятие «сосед» здесь либо отсутствует, либо является обобщенным, абстрагированным. Еще раз отметим, что от положительного или отрицательного решения вопроса об идентификации отметки здесь ничто ни в малейшей мере не зависит. Да он не мог задаться таким вопросом, ибо в этом случае был бы феноменом, исключением, что несовместимо с начальной установкой Яковлева.

Если бы он в момент наивысшей психической уравновешенности смог увидеть себя в пору, недалекую от своего рождения, то совершенно отчетливо узрел бы одинокого ребенка в ужасной замкнутой комнате-коридоре, своего рода камере-обскуре. Зрелище очень печальное. И если бы в ту пору он сознавал свое положение, то конечно, не смог бы существовать как человек в развитии. В лучшем случае он остался бы ребенком-идиотом, в худшем — голокожим зверенышем Маугли.

Но спасение было: врожденный инстинкт самосохранения создал ему иллюзорный окружающий мир. Алогичное детское мышление, растворяясь, дробясь в объектах восприятия, из единичного факта существования детеныша создавало мир сверстников с ординарной системой рефлексов, игр, норм поведения. А способность к специфическому детскому соединению объектов отвлеченного мышления с образами фантазии, порожденными даже голыми стенами дома-коридора, рождала мир — среду общения и познания.

◆ Такое состояние младенческой невозмутимости, беззаботности мышления впоследствии сменилось юношеским стремлением заполнить мозг информацией — мо-

дифицированными образами Среды обитания. Это было мудрое, от природы данное спасение, ибо к этому возрастному периоду потребности мышления не удовлетворяются одним лишь детским мифотворчеством, симбиозом фантазии и отвлеченности, но голые стены не могли дать ничего сверх того.— Мышление уступило место накоплению; процесс накопления возможен даже в столь печальной среде обитания, как голый замкнутый коридор. Ведь и песчинка, отдельно взятая, имеет свои грани, свой блеск, свои цвета, вес.

Если бы держатель жизни оставил его за этим занятием, то и такой малости ему хватило бы на целую вечность, но одновременно были бы нарушены законы постоянного обновления, развития. Поэтому по прошествии положенного времени он был выпущен в третий, последний разряд интенсивной борьбы за существование, за длительность жизни, ее более разнообразную аранжировку вещами и событиями, более богатую нравственно-этическую окраску.

Для целей строгой систематики заметим, что после первых двух периодов он уже имел ординарную подготовку к жизни, обладал умением ненапряженно мыслить, знал элементарные законы мышления, изучил досконально свою скудную среду обитания.

Новым на последнем этапе было данное ему право видеть, наблюдать жизнь своих аналогов, рожденных в таких же концентрических коридорах, прошедших тот же начальный путь. Тем самым ему было даровано право сравнительного анализа и — отчасти — конкуренции.

Отныне все его мысли, руководимые мыслями поступки, действия были направлены на поиски выхода из замкнутого обиталища. Оставаться там он не мог: императив жизни не допускал этого иначе, как в обмен на раннюю гибель. Иные, впрочем, соглашались, но их было мало: самые слабые духом, немощные телом, то есть люди с отклонениями от норм, соответствующих выживанию — то ли от рождения, а может от неверного воспитания. Другие предпочитали поиск пути выхода. Но этот путь дробился, не обладал единой формой, иначе бы обезьяна до сих пор шла в ногу с человеком. Поиск пути давал выбор каждому, хотя выбор губит человека (Догмат католицизма), но зато направляет его мышление на поиск личного пути.

Прежде всего он пошел по пути методическому: измерил высоту стены, оценил простукиванием ее толщину, рассчитал число лет, потребных для долбления, затем начал также размеренно, меняя, совершенствуя приемы камнедробления, делать свой проход.

◆ Первые годы он работал, сознательно связывая свой тяжелый труд с конечным результатом: выходом из тупикового коридора. Но впоследствии на нем сказался один из дефектов монотонной жизни, так называемый возрастной кризис психики нормального человека, то есть непатологической личности: наметилось, год от года стало усиливаться ослабление связи конечной цели и побуждения к методическому труду. Испугавшись превращения в бездумного робота, он отказался от этого пути.

Очень сложной логикой — это было для него открытием — оказались связаны результат и ход мышления, поэтому он начал предпринимать попытки перелезть через стену, строил пирамиды из всевозможных случайных предметов, униженно просил людей с «воли» о незаконной помощи, обещая за нее себя в вечное рабство — это вместо воли, полной свободы в рабстве стен. Но тщетно, здесь сказался дефицит воспитания: интонация голоса, стилистика просьб чуть-чуть, но не достигали положенной в таком случае нормы лести и почтения.

Он вступил на третий путь, пошел совсем уж недозволенными черными ходами: начал подрывать землю под стеной — устои стены. Он жил в грязи, в грязи копался весь день, потерял остаток самоуважения, отупел, сознательно отбрасывая мысли об

эстетической, нравственной измене принципам своего воспитания. Но мысли эти не хотели покидать его; он впал в глубокую депрессию.

В результате жизненных экспериментов неиспользованными остались только два пути: отказаться от активной жизни и отшельником сидеть, либо ходить замкнутыми кругами по своему коридору или закончить существование, разбив голову о стену. Право, трудно же было выбрать лучшую из этих параллельных тропок...

Еще несколько слов о других, что шли названными выше путями.

Очень многие подкапывали стену. То были интересные люди, их набиралась целая группа. Не обладая большим умом и талантами, богатством воображения, духовной чистотой, даже не достигнув физического совершенства, но зато имея устойчивую психику, они могли вовсе не стремиться за стену. Их заставляло это делать самое насущное: не умереть с голода (за всякую работу к коридору платили едой) или необходимость нивелироваться до некоторого среднего уровня — масс-медиа. То есть идея абсолютной свободы у них не доминировала над помыслами ума тихого, скудного. Такие люди даже в общении со случайно встреченными при подкопе сообщниками вели себя подземно, но при этом подспудно копя гнев посредственности при виде таланта, даже — подземного, всякого рода совершенства. Но выражение глаз у них всегда почтительное, ласковое.

Уйти через стену пробовали люди двух типов: либо высокие гении свободомыслия, свободолюбия, разума, доброты, либо же черные гении: наглецы, лгуны, лицемеры, авантюристы. Очень странно, что люди столь полярных типов шли одинаковыми путями, но не так ли радости и невзгоды жизни сопутствуют друг другу; ночь подстерегает день, а любовь имеет обратной стороной ненависть?

Душная, темная бездна жизни несчастного человека. Радость, счастье нередко заглядывает к светлым людям. Светлая радость доброму, злобное несчастье подлому — скоро ли наступит эра именно таких сочетаний?

Вот он, несчастный, бесталанный человек, потратив все жизненные силы, самую жизнь, чудом миновал стену. Каким путем? — Не спрашивайте, часто мы продаем душу Мефистофелю подлости, отдаем на время, надеясь в последующей жизни искупить все темное, возблагодарить мир за исцеление.

Но что увидел бесталанный человек? — Вторую, еще бóльшую в высоте, до самого поднебесья, стену! Многие люди, как он, миновавшие стену первую, уже навсегда остановились перед второй. Перед нею они проведут оставшуюся жизнь, умрут. Лишь единицы штурмуют вторую стену: это гении ума, души, но это и отборнейшие из подлецов.

Что делать ему, бесталанному? Горе человеку срединному! Есть у него вроде бы задатки способностей, но пройдут годы, десятилетия — нет таланта, а есть, крепится лишь состояние неудовлетворенности, ущербности. И что ему все-таки делать? Идти как, куда? Где его путь? — Это ли ответ, данный Декартом: «Мои м правилом было пытаться победить больше себя, нежели фортуна, и изменить мои желания...»

◆ Из той же категории смиренно остановившихся перед второй стеной людей, которым я был не менее доволен, нежели начальником, являлся заместитель последнего по работе. Да-да, именно «заместитель по работе», ибо должен же был кто-то выполнять работу по руководству сектором? — Для этой цели содержался на окладе ведущего инженера с символической, но очень престижной персональной приплатой трудяга Филимонов: лет пятидесяти с небольшим, а может без малого, с бухгалтерской лысиной. Был он дьявольски трудолюбив, тих, покорен судьбе, исполнительен, умен — то есть наделен чертами, требующимися от местоблюстителя поста начальника: непременно зама постоянно отсутствующего руководителя.

Так вот, с Филимоновым я быстро подружился; оказалось у нас некоторое потаенное родство душ, да и возраст сближал, остальные из мужиков были помоложе. Просто так понравились друг другу, без дураков, без подхалимажа, без начальственности. Вот если бы он был начальником сектора, тогда, конечно, все было бы по-другому. И родство душ не смогло бы проявить себя, но в том-то дело, что Филимонов был вечным замом, служил верою-правдою начальнику и миру своей головой, спиной, согбенной в трудах, задом, наконец: бедолага корпел под кипящим валом работы не разгибаясь, по полдня не вставая со стула. Да вообще зря люди смеются, слыша подобное... насчет зада; в нашем инженерном, служилом деле это не шутка. Пожалуй, никакая другая часть тела не несет такой нагрузки, даже профболезни нашего брата чаще всего касаются седалища.

Мы с ним на рыбалку по субботам наладились ездить: у него плохонькая моторка была, у родственников жены сохранялась в деревне.

А с сослуживцами-то я сразу, с первого дня встал на равную ногу, да иначе не принято в наших учреждениях. Простой, неначальственный народ, он добр, общителен, по-русски прост, скор в знакомстве.

Пара перекуров, удачно вставленный в беседу анекдот — вот и стал я своим парнем. А когда узнали, что ставка оклада у меня чуть выше минимума должностной вилки, родственников в здешних кабинетах нет, а в СКБ попал по рекомендации Кова, также человека не видного, но уважаемого, то совсем одногодки стали по имени звать, а ребята — молодые специалисты и практиканты-дипломники — по отчеству: Петрович.

Женщин я в расчет никогда не брал, да глупое это занятие — особые соображения насчет женщин; у них на службе свой мирок, свои заботы. Соберутся с утра в углу за кульманом, где зеркало, треплются до обеда. Обед у них с одиннадцати до двух, после чего разбегутся до конца дня по-двое, по-трое по малонаблюдаемым сторонними людьми местам, шепчутся. О чем? — Черт только догадывается; может о мужчинах, о нас, может о мужиках из других отделов, лабораторий, а может о любовниках. Да вряд ли о любовниках... они все такие полные, спокойные, с детьми. Женщин только тогда замечаешь в комнате, когда Пятница наступает, а особенно — большой предпраздничный аврал. Это их время, уборка. С каким наслаждением они отрывают свои, пардон, ну-у, свои словом... от стульев и, восхищая нас, мужиков, своей пышностью, формами, начинают суетиться по комнате, готовя поло- и оконмойку. Вот тут они оживают: ведь не бумажки бессмысленные, а что-то напоминающее дельное, реальное, осязаемо домашнее — уборка! Они слово-то это с особым уважением произносят. А мы уходим до конца дня в курилку. Эта курилка в предпраздничный день!.. Чего-чего не порасскажут матерые инженеры в порыве откровенности? Как эти рассказы дорисовывают характер человека, которого привык видеть на работе одним лишь боком... Вот взять ведущего конструктора Третьякова Виктора Петровича из отдела перспективных разработок: должность его очень престижная; их, ведущих конструкторов (не путайте с легионами простых ведущих инженеров!), во всем нашем СКБ только двое; подчиняются они непосредственно главному инженеру, оклад имеют повыше начлаба или начальника отдела, да и поделом! Тот же Третьяков — умнейшая голова, автор полусотни изобретений, даже патент на какой-то особый токосъемник выправил себе в США и Франции, лауреат местной, но очень ценимой в механике премии. Настоящий интеллигент, немногословен, вечно в делах, пустозвонства не выносит, аккуратен как флотский боцман. Я поначалу даже домашним его заочно посочувствовал: небось жена, дети на цыпочках ходят, знаю таких тиранов, деспотов не по характеру даже, а по общей дисциплине. Даже легкая неприязнь появилась у меня к нему: очень уж деловой, расчетливый... но только пару

месяцев я с ним холодно здоровался при случайных встречах — по работе были связаны, уже знали друг друга,— а потом неприязнь эту как рукой сняло; помогла... курилка!

Не помню, какой первый мой праздник был в СКБ по поступлении сюда на работу, но именно в день накануне курилку заполнил народ, только что пообедавший с принятой тогда праздничной, адмиральской стопкой. И тут Третьяков, в легком возбуждении, отошедший от всегдашней задумчивости, суеты, рассказал приключившуюся с ним на днях историю, которая заставила меня в корне изменить свое мнение об этом, как оказалось, милейшем, скромном и порядочном во всех отношениях человеке. Но — к делу.

◆ Виктор Петрович никогда не задерживался на работе, хотя был самым работающим, пожалуй, самым загруженным человеком в СКБ; просто он все успевал сделать в положенные восемь часов. В тот день он пришел домой не позже, не раньше, а как обычно в шесть. Чуть погода появилась жена, забежавшая, тож после работы, в молочный и булочную. Не переодеваясь, она загремела на кухне сковородкой, кастрюлями, свято памятуя слова нехорошего философа о пути к сердцу мужа через желудок; слова эти в числе прочих избранных мыслей об основаниях супружеской жизни сообщил ей Виктор Петрович в самом начале их давнего медового месяца.

В начальный этот момент вечернего домашнего уюта была она особенно раздраженной; Виктор Петрович затаился за газеткой терпеливо ждать ужина... но так и не дождался. Когда по всем расчетам желудка оставалось минут пять-шесть до скромного гастрономического разгула, пропел «до-ре-ми» собственной выделки звонок. Едва он успел подняться с дивана, как из коридорчика, через проходную комнату, донеслись всколыхнувшие прошлое, почти родные голоса, приветствия вошедших, фальшиво-счастливые восклицания жены. Пришли старые друзья из однокашников, давно не виденные. Пришли втроем — звать, как выяснилось, на скорую руку устроенную вечеринку.

— Ба! — хлопнул себя по лбу Виктор Петрович,— да сегодня же пятнадцатилетие окончания...

Хозяин дома, супруга его были несколько ошеломлены; они, конечно, знали по предварительным звонкам, что состоится эта вечеринка, даже знали примерно — когда, где соберутся, но как все люди, давно привыкшие к неторопливому, размеренному движению жизни: от понедельника до пятницы, от аванса до расчета, а там и до отпуска,— до последнего дня оттягивали ленивую мысль о предстоящем. Речи не могло быть, что не рады они встретиться с друзьями, напротив, это было приятно, очень приятно, но в душе, не говоря друг другу, но подозревая это в другом, даже догадываясь, скорее — безусловно, надсознательно зная, как знают, читают мысли другого прожившие бок о бок полтора десятка лет люди, держали приятную, спокойную мысль, что все может расстроиться, не состояться, не собраться, и тогда можно, не беспокоясь, не собираясь, продолжить плавное, размеренное течение жизни.

Но это мысли. Двигательный же их корень, вызвавшая их основа была другая, более человечная, оправдательная: просто давно не видел старых друзей, бывших однокашников — Виктор Петрович еще в студенческие годы женился на своей одногруппнице — они в своем роде перетасовали в себе само ощущение радости. Если раньше было удовольствие в общении, то теперь все выродилось в радость ожидания встречи, грядущего общения. Собственно, иначе быть не могло; если бы они продолжали видеть радость в непосредственном общении, встречах, не получая их, то сама мысль о друзьях, бывших соучениках выродилась бы в тоскливое, довлеющее чувство неудовлетворенности.

Вот они пришли. Понятно, что мысль о неудобстве визита лишь мимолетно отразилась, да и то в самом запрятанном запаснике мыслей Виктора Петровича и жены, впрочем, последнюю, по-женски, выдал голос. Они обрадовались вполне искренне. Более, радость встречи мигом вытеснила все домыслы о приятности лишь отдаленного, будущего свидания. То не было лицемерием, подделкой под радость, под впечатление от внезапной и ожидаемой в то же время встречи, а искренностью безыскусственных в человеческих отношениях людей.

— Ребята, собирайтесь! Все уже у Фомичевых, нас специально послали, бестелефонные вы души! — вперебивку торопились они после рукопожатий с Виктором Петровичем, поцелуев с его супругой.— Трое были из лучших студенческих друзей, а Петр даже шафером на их свадьбе.

— Чего целую орду послали, сами дорогу не забыли, звякнули бы днем мне на работу, или вот Вере,— сквозь смех, радость встречи отшучивался Виктор Петрович, по всплывшей инерции быстрых студенческих сборов протягивая руку к вешалке за шарфом и пальто.

— А чтобы попутно за этим самым,— расплываясь в широченной улыбке, выдавшей коренного тамбовского жителя, ответил Петр, колыхнув зазвеневшей стеклянными переливами раздутой сумкой, а в дополнение объяснений щелкнул себя согнутым пальцем в низ подбородка.

— А-аа!..— Виктор Петрович засмеялся, остальные присоединились.

— Давайте, давайте, собирайтесь,— все торопил Петр,— ждут нас, вас, посуду само собой.

— Сейчас, сейчас, несколько минуток подождите, оденусь,— вмешалась жена,— да и тебе, Виктор, не в свитере же идти?!

— Бог с вами, пошли скорее, как есть, не на бал... помнишь, Вер, как бывало в общаге: соберемся по-скорому, ты картошечку жареную сгоношишь, э-эхх, были времена молодые! Пошли,— упорствовал Петр,— пошли, пошли!

— Ну уж нет,— кокетливо (забыл, забыл Виктор Петрович от долгого супружества, что жена может кокетничать, удивился про себя...) ответила она,— позвольте мне блеснуть!

— Ради бога, побыстрее, Верунчик!

— Проходите же в комнату! — затворяя дверь спальни, крикнула жена.

— Не чай пить пришли, подождем здесь.

— Ну, ребята,— чего-то смущаясь, сказал Виктор Петрович,— я переоденусь, не в свитере же действительно идти.— И ушел, напоследок увлекая их в проходную комнату. Те не пошли, ожидая скорых сборов и — на улице развезло грязь поздней осени — пугаясь чисто мытого пола.

С этого момента начался кошмар для Виктора Петровича. Войдя в спальню, он обнаружил жену в полнейшем неглиже, вышвыривающую из поместительного гардероба юбки, блузки, платья и те неисчислимые разноцветно-кружевные тряпки, обилие которых всегда повергало Виктора Петровича в ужас, заметно съедало его немалую зарплату, побочные изобретательские доходы.

Жена одевалась, а он хорошо знал, что в такие минуты к ней лучше не обращаться. Сторонясь ее, Виктор Петрович быстро переоделся в темно-серый выходной костюм под белую в мелкий горошек рубашку, со вздохом творческой природы повязал модным узлом галстук, причесался, терпеливо стал дожидаться, встав столбом посредине комнаты.

Женины сборы были для него всегдашней тайной, логической неувязкой; действительно, казалось ему, что проще: быстро сообразить, найти, надеть что приличествовало случаю и сезону. Но жена, его Вера... как впрочем большинство женщин на

свете, ведь какой-никакой, а жизненный опыт, помимо производственного, у него был,— во что она только не превращала выходные одевания?! Пустым, холодеющим желудком предчувствую нехорошее, Виктор Петрович все же осмелился:

— Вера, побыстрее надо, ждут, да еще в коридоре...

— Во-первых, я их в комнату приглашала не раз, тебе же поручила привести, а потом, что за манера торопить? Что прикажешь мне одеть? — Ни одного приличного платья нет, туфли чуть не из бабушкиного сундука, что? Что мне одевать?!

Ответ на подобные обвинения всегда терялся в комплексе самоуничижения Виктора Петровича, в скучных его словах об эмансипации, примерно равном заработке, что крайне раздражало жену. Хорошо сын сегодня в цирке с дедом, не привыкает смолоду к женской бессмысленной болтовне.

На сей раз он промолчал; даже в сборах меньшей ответственности его оправдательный ответ оборачивался ушатом обвинений едва не в идиотизме, потоком слез, а теперь грозил вызвать водопад слез, швырянье туфлями в него, как-никак ведущего конструктора, изобретателя, лауреата.

Виктор Петрович отошел в угол, сел в кресло, притих. Повисла зловещая, пульсирующая тишина, ритмичная с биением сердца затаившегося мужа, горловым клекотом, прерывающимися вздохами отчаяния жены, тиканьем часов, приглушенным, задрапированным двумя дверьми и портьерой смехом, неясно доносящимися голосами гостей.

◆ Жена успешно суетилась, полшкафа было вывалено на диван, стулья, стол, просто на пол. С тем большим, правда, раз от разу повторяющимся изумлением, Виктор Петрович, подняв опущенные пять минут назад в показном смирении глаза, обнаружил, что в одежде супруги не произошло даже малейшего изменения.

— Вера! — умоляюще, укоризненно, одновременно сдавленно робко, нудно-настойчиво решил поторопить муж... И испугался, внутренне ойкнув. Однако презрение жены ко всем делам и существам Земли, не помогавшим ей в выборе платья, было так велико, что непристойное напоминание мужа, перешедшее от запротестовавшего ума к языку и гортани, от них — к колебаниям воздуха, подскочило к ушам жены, но, попав в кипящее облако возмущения ее ума, чувств, тела, мыслей, мигом отрезвело, в ужасе бежало назад, слабым эхом отдавшись в ушах Виктора Петровича:

— Вее-ра-а-а...

Снова все стихло, пошли следующие пять минут ожидания, нетерпения и нарастающей ярости.

Виктор Петрович обмяк, уши загорелись, в правом, потом в левом ухе звонко, высоко, монотонно зазвенело. Течение времени расширилось в русле, замедлилось до скорости черепахи, наблюдаемой с крыши шестнадцатизэтажного дома. Ранее раздражавшее частое тиканье часов на столе замедлилось, перешло в резкий, глухой, короткий бой с длинными паузами. Наступил момент, когда ожидание перешло в ощущение чистого времени; в голове лихорадило, гулко бухало. Слово «время» стало назойливо рифмоваться с премией, очевидно необходимой для покупки жене нужного туалета.

— Почему премии? — усилием воли стряхивал оцепенение Виктор Петрович,— почему премии? Или я на службе? Не дома, не жду свою, как ее... жену?! — Но дремотная мгла снова накрывала его, наносимая глухими, резкими ударами будильника.

Вновь он бездумно смотрел на жену, ворох тряпок, груды обувных коробок; взгляд, отключившись от мысли, слившейся со временем, заскользил мимо всего: жены, тряпок, груды обувных коробок... остановился на носке правого ботинка собственной ноги, перекинутой через низкий подлокотник креслица: детская привычка. Мерно, в такт уходящему времени, чуть покачивал ботинком.

Он почувствовал нехорошее, сходное с легким недомоганием, тупошафранной болью в затылке, что появляется, если тепло одетый, в солнечный, но холодный ранне-весенний день час и другой бегаешь по городу, толком не зная: куда? зачем? Зажмурился, боль оставила. Снова чистое течение времени, ставшее основой жизни, заполнило голову, тело, кровь, легкие. Тягучая, замедлившаяся мысль поползла гекзаметрической лестницей.

*Когда-то времени течение, расширясь в берегах,
Долины бремена томления даст отраженья в облаках...*

Из оцепенения вывел стук упавшего флакона, резкий запах разлившихся духов. Он нарочито не открывал глаз, когда раздался стук; две с лишком минуты неслись глухо сдерживаемые стенания по утраченному флакону «Визави», модных в сезоне. Постепенно стихло, стало прилично спокойно. Жена отходила.

Но прежнее состояние слияния со временем к Виктору Петровичу не возвращалось. Был он настороже, когда бесконечная полоса ожидания и томления обещала кончиться; некая, впрочем, чисто мужская логика связывала падение духов с окончанием акта одевания. Для страховки отсчитав по убыстрившимся ударом часов минуты три, он устало, торжественно поднял глаза: увы, все та же картина с тем значительным отличием, что жена сидела на краешке дивана, по-прежнему не одетая. По выражению ее лица было ясно: утрачена вера в способность одеться. Но инерция торопливости не ушла, она машинально перебирала флаконы, глядя поверх них, рассеянно рассматривая устроенный в комнате базар.

— Вера!! — уже громко, назидательно, гневно выкрикнул, поднявшись с кресла, Виктор Петрович. Все повторилось в хорошо знакомой последовательности, лишь с несколько более сильным акцентом ответных реплик жены, с большей амплитудой подрагивания носка правого ботинка.

Еще через пару циклов жена слегка оделась, но тут она и Виктор Петрович скорее почувствовали, чем уловили, молчанье гостей.

— Сходи, скажи... скоро будем... развлеки,— процедила жена сквозь зажатые, занятые шпильками губы. Виктор Петрович ахнул, как он-то забыл о них, стоящих в тесном коридорчике, издевательски названном прихожей, ждущих, недоумевающих,— и выбежал из комнаты.

Он вышел к ожидающим с растерянной улыбкой, извиняясь всем телом, так умеют делать только провинившиеся собаки, краснея кожей лица, рук, а может быть пяток. На их лицах он увидел, равно и в позах, знакомые симптомы ожидания, томления. Как летучая зараза, ожидание вытекло из дальней комнаты, пронеслось через проходную, две двери и захватило пришедших: один сидел в позе ямщика на обувной тумбочке, покачивал, точь-в-точь, как минуту назад сам Виктор Петрович, носком правого ботинка. Двое стояли друг против друга, привалившись к стенам. Петр задумчиво курил, опасливо сбрасывая нагоравший пепел в приоткрытую туалетную дверь.

Виктор Петрович затратил даже определенные усилия, чтобы перевести разморенных духотой коридорчика и ожиданием гостей в комнату. Однако дружеское веселье заметно сникло, разговор получался уже не эмоционально взвинченным, но отрывистым, с выискиванием тем, слов. Гости более не старались торопить, только по их коротким взглядам Виктору Петровичу было ясно: поторопиться следовало полчаса тому назад. Однако, поддерживая общий, «развлекающий» по терминологии жены, разговор, хозяин и гости умышленно не затрагивали тем основных, имеющих значение. Все по обоюдному молчаливому согласию сберегалось до общей встречи, пока же обходились дежурными пустяками, полувопросами, вялыми анекдотами.

Из-за двери закрытой спальни донесся частый твердый стук; так может стучать лишь женщина, надевающая туфли. Недоверчивая радость зародилась в центре существа Виктора Петровича:

— Туфли не духи, они ведь завершают чертово одеванье?!

Чуть повеселев лицом и душой, он объявил:

— Кажется все. Готово... пойду посмотрю.— И ушел к жене в спальню, но еще прежде чем затворилась дверь, трое оставшихся явственно расслышали разочарованный вздох, невольное, спазматическое восклицание. Их души, ставшие за последние полчаса времени слияния с ожиданием предельно чуткими, все поняли, загрузили, а тела в предчувствии продолжения пытки ожиданием обмякли.

♦ В спальне же, вслед за короткой, энергичной перебранкой шепотом, была вновь проиграна знакомая сцена, душой которой были ярость и ожидание, актерами — жена и ожидающий, тоскующий муж Виктор Петрович.

Увидел же он, войдя в комнату, прежнюю картину, тот же барахольный базар, ту же неодетую жену. Правда, теперь она стала выше ростом, прохаживалась перед трюмо каким-то нарочитым, кобыльим шагом, косясь на зеркало, топча, стуча туфлями на высоченных каблуках, пыталась при этом причесываться, тут же хваталась за тряпки, с гневом их отбрасывала.

Прошло несколько несчетных минут, Виктор Петрович уже не решался выйти к гостям. Ему было стыдно.

Опять замедлилось тиканье будильника, бесконечное время потекло все более, более расширяясь, границы его потерялись; море, а не текущая река ожидания окружило Виктора Петровича. Время остановилось, стрелки часов замерли, бой прекратился, замер на последнем ударе, звук его повис в воздухе, отражаясь многократно, бесконечно от стен, пола, потолка, зеркала, окна, отобразился в голове сидящего и ожидающего знакомой тупо-шафранной болью.

Прошло несколько тысячелетий. Виктор Петрович вдруг испугался, что гости давно окаменели, высохли, лишь их сморщенные временем ожидания мумии, сухенькие, уменьшенные, черно-обуглившись, сморщенные копии провалятся сквозь прогнивший остов дивана и, ударившись о нетленный железобетон межэтажного перекрытия, распылятся в прах. Не останется и следа, образа их пребывания на Земле...

Он испугался, вскочил со своего покрытого пылью тысячелетий ожидания креслица, стоявшего прямо под окном, неловко наступил на валявшуюся под ногами вертлявую женскую туфлю, потерял равновесие, инстинктивно взмахнул, как пловец брассом, назад руками, не удержался и со всего немалого роста затылком грянулся в оконное стекло.

Жена закричала истерично, страшно, визгливо. Вбежали гости и под крики, плач жены отнесли зажмурившегося от боли Виктора Петровича на диван, оставляя на полу редкие капли из оскальпированного затылка и макушки головы.

Жена, не переставая рыдать, выгребла верхний ящик серванта, ища йод, вату. Тем временем двое гостей прикладывали к пораненной голове скомоканный стерильный бинт, а третий опрометью выбежал из квартиры — помчался к автомату вызывать «Скорую».

Однако, еще не дождавшись йода с ватой, один из ухаживающих за полумертвым Виктором Петровичем стал принюхиваться, осторожно обратил внимание другого на странный запах крови. Тот тоже принюхался, потом они вместе внимательно исследовали бедную голову: на ней не было даже малейшей царапины, просто Виктор Петрович почти потерял сознание от ярости, тоски, испуга, услышав звон выставленного затылком стекла, а подбежавшая к нему с флаконом ярко-красного польского

ногтевого лака супруга, от испуга весь его вылила на голову ничуть не пострадавшего, ввиду наличия густых вьющихся волос, Виктора Петровича.

Вскоре он совершенно пришел в себя. Коря за растяпистость, но сияя и радуясь, жена, а с нею гости, отмывали растворителем свежий лак с волос смущенного до полного онемения страдальца. Потом его отправили в ванную мыть голову. Тем временем жена быстро оделась, причесалась, остатками лака покрасила ногти. Пока сохла под рефлектором электрокамина голова Виктора Петровича, жена и двое гостей пили кофе, абсолютно непринужденно, а главное — весело смеялись, вспоминая былое, загадывая о предстоящем.

Все закончилось прекрасно, весело, даже пикантно. К общей радости и окончательному облегчению третий гость вернулся ни с чем. Он вбежал в квартиру с расстроенным донельзя лицом, в поту: все автоматы в микрорайоне были разбиты хулиганами, либо просто неисправными.

— Надо самим в больницу нести, далеко она, где? — И... изумился, увидев смущенного, также пьющего кофе Виктора Петровича.

Еще через пять минут они ушли, оставив записку деду с сыном, а также квартиру со следами одевания жены и разбитым стеклом — горьким плодом несдержанности Виктора Петровича. Еще более обрадовались случившемуся анекдоту на вечеринке, где первой дамой была признана жена Вера, а Виктор Петрович был ее трагикомическим героем, который всегда украшает дружескую компанию.

◆ Опять я разболтался, тянет с возрастом к эпическому, Пушкина и того к прозе потянуло-таки... Как вспомню свое тихое, расчудесное СКБ, так хочется запеть опять же тихое, протяжное, мирное. Но, чтобы покончить с описательностью и перейти к делу, закругляюсь: через неделю работы на новом месте знал я обо всех, почти со всеми имел доверительные беседы, а кое с кем, в том числе с Филимоновым, заглядывал после работы в местный «Поплавок». Все оказались прекрасными парнями. Но — к делу.

Все началось... впрочем, началось-то еще за полгода до моего прихода в СКБ, началось лишь для меня, только что узнавшего об этом; остальные знали с самого начала, но так попривыкли, что говорить об этом не говорили. Словом, для них это была данным давно приевшаяся новость, потому далеко не новость, не диковинка уже, так себе: факт, обыденность, регламент, наконец, своего рода пунктик в секторе.

Даже не само воспоминание о полугодовой были стало причиной моего узнавания, а нечто более житейское, одна из обычных неувязок в городской торговле времен последнего приступа социализма.

Город наш, хотя областной, не очень удаленный от столиц и других университетских центров, но все же провинциальный, поэтому неувязки в торговле дело настолько привычное, что люди умерли бы со скуки, пойдя здесь дело, как то требуется, по всем торговым правилам. А случилось то, что в городе, который уже раз за последнюю пятилетку, пропали сигареты с фильтром. Дело обычное, но до конца непонятное, ибо сосед по подъезду Левка Гольдин, старший товаровед с областной базы, даже из того отдела или подотдела, не знаю точно как, что ведает, кроме всего прочего, заготовкой, снабжением области и города табачными продуктами, клялся, божился мне, что централизованные и прямодоговорные поставки в область сигарет с фильтром третьего и четвертого классов, пользующихся наибольшим спросом, не только не уменьшились в последние месяцы, не имели перебоев, но, напротив, имели тенденцию к возрастанию объема: так требовал план сверху, иначе бы он, Гольдин, не получал своих квартальных премий. А премии он действительно регулярно получал, это я знал, иначе как бы он на свое стопятидесятирублевое жалованье купил «Жигу-

ли» лучшей модели, сделал вступительный взнос в кооператив, построил загодя еще кирпичный гараж. Не пил бы он без премий после работы коньяк в «Спортивном», где, как известно, собираются между пятью и семью часами деловые, денежные люди. Но это опять к слову. Гольдину я поверил, знал с детства, вместе выросли, тайн друг от друга не держали, хотя давно витали в совершенно различных сферах жизнедеятельности. Итак, сигареты на городские базы поступали планово, регулярно, а в продаже они стали исчезать; в начале апреля перестала появляться в киосках без того редкая сорокакопеечная «Ява», через неделю исчезли «Столичные». Болгарские сигареты продержались с месяц — и пропали. К тому времени, как я перешел в СКБ и проработал совсем немного на новом месте, народ подобрал все старые запасы, а фильтрованные сигареты пропали в пригородах, окраинных поселках и городках, где они обычно дольше всего задерживаются. В курилках наблюдалось изо дня в день, как в телесериале, давно знакомая картина: то один, то другой нервно сминал пустую пачку из-под «Столичных», «Каравеллы» или «Родопей», щелчком бросал ее в урну и переходил на «Ватру» — сигареты-выручалки. Дольше всех держался Чертопанов, в отчаянье перешедший на восьмидесятикопеечную «Яву» удлиненного формата. Ей-то изводу не было, но кто кроме него будет курить такие? — Может, какой сумасшедший, школьницы? Наконец, Чертопанов сдался. В один из дней он демонстративно отдал почти полную пачку нелепых сигарет несовершеннолетнему лаборанту Витьке, выругался: «Трава!» — и попросил закурить победительную «Ватру». С того самого дня в киосках кроме «Ватры» и курского «Беломора», до которого никто еще не падал, я ничего не встречал.

Но когда я выложил факты Гольдину, тот нимало не смутился, а чтобы я отвязался от него, принес показать мне с работы ведомости об очередных плановых поставках. Я прочитал скучные перечислительные пункты, глазам не поверил: все исчезнувшие сигареты поступали помесечно, ежеквартально из расчета одной пачки в день на статистически учтенного курильщика области плюс форс-мажорный резерв.

Тогда-то развеселившийся моим удивлением Гольдин раскрыл мне, непосвященному, всю несложную, в то же время сложную тайну сигаретного, равно, как сообщил доверительно Гольдин, любого другого продуктово-мануфактурного кризиса в торговле, исключая мясо и колбасу, которых действительно стране пока не хватает для растущих потребностей трудящихся*.

◆ — Дело это, — пояснил он, — начинается стихийно. Допустим, в табачный киоск № 16 Второго горпищеторга «Гастроном» две недели подряд не завозили сорокакопеечную «Яву»; просто кладовщику лень было идти в дальний угол, а может кто перепутал накладные и отправил удвоенную партию этих сигарет соседнему, семнадцатому киоску. А у каждого киоска есть постоянные, многолетние покупатели; скажи, ты сам-то где чаще всего курево берешь?

— Да, пожалуй, в киоске на углу Сталеваров и Фигнер. Я на работу мимо хожу... удобно по пути.

— Вот видишь? И другим удобнее хочется. Вот курильщики, приписанные к шестнадцатому киоску, раз не находят там «Явы», два, а в третий раз, помня о табачном кризисе позапрошлого года, когда народ до махорки дошел, решают: начался новый, дескать, все табачные фабрики страны, кроме курской, на профремонт закрылись, и ,

* Много-много лет спустя издательство «Наука» выпустило в русском переводе книгу «Дефицит» знаменитого венгерского экономиста Карнаи. За этот труд Карнаи получил, если мне не изменяет память — вписываю это примечание уже находясь на пенсии — Нобелевскую премию, однако получил он ее зря: не учел особенности происхождения дефицита в нашем отечестве; все собираюсь навестить ныне живущего в Москве Гольдина, порекомендовать выступить ему со своей, наиболее правильной теорией дефицита, имея в виду претензию на Нобелевское лауреатство. Профиль у него подходящий.

ругая на чем свет стоит ни в чем не повинную систему снабжения, закупают оптом по 40—60 пачек, скупают всю «Яву» в соседнем семнадцатом киоске. Но ведь там есть свои постоянные покупатели! Понимаешь? К концу второго дня от начала паники «Ява» исчезает во всех киосках, магазинах города. Кому она не досталась, те начинают скупать «Столичные», за ними идут болгарские пятидесятикопеечные сигареты. Но это еще не беда, это даже полбеды. Если бы на этом все остановилось — не было бы кризиса. База совершила очередной завоз, киоски и магазины вновь бы наполнились вожделенными сигаретами, а так как курильщики уже заготовили себе двух-трехмесячный НЗ, то оказались бы в глупейшем положении: всюду лежит прекрасная, свежая, знакокачественная «Ява», а у них дома по 50 пачек сомнительного «Карабаха», неудобоваримого «Аэрофлота» явно не болгарского производства, а жене больше денег на курево не дает.

Но тут-то, — сказал мне Гольдин, — срабатывает вечно настороженный механизм периферийной торговли. Ведь мечта каждой мелкорозничной торговки, хозяина солидного универсама, наконец, любой торговой точки — это перевести недефицитный товар в класс дефицита, а по возможности — острого дефицита, тем самым приобрести эквивалент для натурального, в народе — подприлавочного обмена с торговыми учреждениями с профилями отсутствующих у них самих товаров... Ты замечал, наверное, что несут с собою продавщицы домой, запирая на ночь магазины?

— Да-а, я прогуливаюсь вечером иногда с женой, часов в восемь, в девять... Каждая по две, а то по три набитые сумки волокет. Воруют, сволочи!

— Допустим, ворованное открыто не несут, да продавцы не воруют. Воруют воры — разделение труда, понимаешь? Политэкономии-то изучал? И воров, кстати, все меньше и меньше остается. Опасно потому как. Несут они к у п л е н н о е .

— У себя что ли?

— Отчего же, и у себя. Из того, что к прилавку не допускается, но обычно — в соседнем магазине купленное. А если бы ты не шел на поводу молвы, повнимательнее приглядывался, то отметил: продавщицы из рыбного несут финские меховые сапожки, книготорговцы — дальневосточную селедку, тресковую печень. Из обувного выносят очередной том Жорж Санд или французский детектив, и так далее в любых сочетаниях. Даже что-то несут из керосиновой лавки, что на бывшей площади Александра Невского. Я правда не знаю, как из керосина сделать что-либо дефицитное, но они знают.

Теперь сообразил? — Ну да, правильно: в обед рыботорговка занесла, конечно, заплатив у себя в кассу положенное, в соседний книжный магазин два кило копченого трескового филе и четыре банки порезанной кусочками сельди в горчичном соусе, пью! Пальчики оближешь, — заметил вскользь Гольдин, — и забрала купленные для нее книгопродавцом через сестру в обувном магазине только что поступившие с базы финские сапожки, доплатив существенную разницу. Обувщица — у них сегодня учет — только что занесла сапожки сестре, взяв заодно очередной том Жорж Санд, подписанный помимо дикой, кровопролитной очереди, писавшейся на женского классика еще за десять лет до принятия Госкомиздатом решения о выпуске собрания ее сочинений. Но, заметь, это не все, если только продавцы менялись бы между собой, то на прилавок поступали бы лососи, селедка, эти самые сапоги. Честное слово! Не знаю как с Жорж Санд... Но ведь рыбница обменяла сапоги для племянницы-студентки, той жениха искать в этих сапожках. Книготорговка несет соленую рыбу сразу для трех клиенток: портнихи, жены мужниного начальника и заведующей детсадом, взявшей по блату на дошкольное воспитание ее ребенка. Понятно, что обувщица не сможет ответить на вопрос о половом статусе Жорж Санд; подписными изданиями ее супруг оплачивает некую услугу в части ремонта личного автомобиля, а

впрочем, может сам коллекционирует книги впрок: это вклад капитала без риска, с большими процентами.

Я перебил монотонную, обстоятельную — с детства не любил эту Гольдину обстоятельность — речь:

— Неужели на сигареты тоже подприлавочный спрос есть? Не смей!

— А ты слушай, коли завел меня, слушай. Так вот, сколько у нас в стране что называется работников системы обслуживания и торговли? То есть тех, кто имеет на руках эквивалент дефицита? Наверное, миллионов десять-двенадцать. Они обслуживают друг друга, свои семьи, знакомых, отчасти соседей. Возьмем для ровного счета: откинул, набавил костяшки условных счетов.— Итого: 100—120 миллионов снабжается дефицитом, минуя прилавков в общепринятом смысле. Осталось лишь подсчитать число несчастных, не попавших в сферу действия могучего эквивалента дефицита. Что? Дух захватывает? А ведь не будь этого, в основе — искусственного дефицита, всем бы он доставался, хотя бы через раз... Вот так-то, а ты удивляешься: в магазинах ничего нет, а все всё имеют. На улицах от школьников до пенсионеров все в импортных портках, водительницы трамваев — те в канадских дубленках, в гости придешь — птичье молоко и то есть местной кондитерской фабрики; коллеги твои по работе на обед в столовую не ходят, брезгают картонными котлетами, бутербродики с бужениной лопают!..

— Да нет,— обрадованно перебил я Гольдина, мстя ему за монотонность тем, что наконец-то поймал на неточности теории,— очень мало кто у нас с буженинкой-то кушает, да с сигаретами тоже непорядок: все как один перешли на «Ватру». Что ж, значит такое у нас несчастное учреждение, что никто не попал в эти 120 миллионов из всего-то двухсот с половиной? А?

— Какой-то ты, Петрович, нервный стал, все торопишься... Я же не сказал еще — а в этом вся суть! — что эти 120 миллионов равномерно распределены среди всех жителей страны. Отнюдь, как говорится в старом анекдоте! Так кто все же имеет доступ к дефициту! Отбросим в сторону (в части рассуждений, конечно, не подумай чего лишнего!) миллиона два-три больших начальников — партийных, исполкомовских, производственных, — членов их семей, то есть тех, кто кормится из спецраспределителей. Отбросим всю Москву — образцовый город. А вот остающиеся-таки сто с лишком миллионов обладателей дефицита составляют специфическую группу населения. Мы с тобой выяснили, что исходным звеном в распределении дефицита является продавщица, именно она; продавцов у нас мало, исключая Кавказ, Среднюю Азию. Но там и система распределения иная, не будем в нее лезть. Кто, как правило, муж продавщицы? — Не инженер, это однозначно, не учитель. Муж ее — таксист, милиционер очень часто в сержантском чине, небольшой чиновник с торговой базы — общая почва для знакомства была,— а также ловкие ребята-работяги с приличной зарплатой, всевозможные полуофициальные фарцовщики. Да, чуть не забыл: перспективные водители персональных автомобилей больших начальников, очень большое число всевозможных технических, полутехнических служащих, что обитают около распределения жилья, стройучастков, путевок, льгот различных калибров. Так что компания весьма однородная подбирается. То же самое, исходя из принципа «рыбак рыбака видит издалека», можно сказать о снабжаемых продавщицами, только здесь круг расширяется за счет полезных знакомых, могущих оказать дефицит в форме иной, не торговой: врачи, в первую очередь, особенно стоматологи, заведующие детскими садами, яслями, паспортистки в ЖЭКах и паспортных столах, сотрудники жилотделов исполкомов опять же, участковые, судьи, директора, завучи школ — иногда, завгары, кладбищенские ответственные работники... Ну, тут всех на трезвую голову не перечислишь! Ваш брат, инженерия то есть, никак сюда не вписывается.

Амба! Ша! Сам понимаешь — у вас дефицита нет. Кульман ваш никому не нужен, да вы его и не вынесете через охраняемую проходную. Так что, Петрович, одно спасение тебе: поближе к пенсии переходи работать в институт, например, если сумеешь. Институтские преподаватели — носители хо-оррошего дефицита!

Впрочем, вернемся к сигаретам. Почему полагаешь не дефицит? Почему не эквивалент! С удовольствием: я тебе пару блоков «Явы» — ты мне килограмм селедки, идет? — Пойдет, бойко пойдет! Муж рыбницы, сержант или завбаней «Ватру» смолить не привык. И вот табачные киоскерши воспользовались случайной паникой, создали дефицит. Дальше — больше: уже «Ява», «БТ» в охваченном паникой городе оседают в распределителях, до киосков не доходят, а киоскерши не все еще урвали от паники, берут что поплоше, что с баз перепадает. «Опал»? — прекрасно, «Интер»? — пойдет, не все же дубовую крепость «Ватры» выдерживают или аромат курского «Севера»...

Гольдин ушел, оставив после себя облачко коньячного запаха. Я держал в руке презентованную мне пачку кишиневского «Мальборо», а в голове — великую ясность. Не было больше загадок.

◆ Кстати, чего-чего, а в знании практической жизни Гольдину не откажешь: все у него со смыслом, с дальним прицелом. Если он купит подписку, скажем, той же Жорж Санд, то только ради капитала. Это не другой мой сосед, что подо мною живет; тот на этих книжках (я сам люблю почитать)... с ума сошел, свихнулся в самом прямом смысле.— Со справкой.

Ведь всякая идея, доведенная до совершенства, есть абсурд. Абсурд — есть самоубийство у героев авторов школы Достоевского. В жизни же людей моего скромного круга общения — это легкое помешательство соседа Гребенникова. Но — по порядку.

В 1440 году ювелир из Майнца Иоганн Геннсфляйш Гутенберг изобрел книгопечатание; это стало источником и причиной психической неустойчивости, проявившейся еще лет десять тому назад, фотографа ателье «Рассвет» горбыткомбината Ивана Геннадиевича Гребенникова. Таинственные, неумолимые законы природы протянули нить возмездия длиной в три тысячи километров от Майнца до Т. и сроком времени в пятьсот с лишком лет.

Нельзя сказать определенно, что именно сам Гутенберг причинил психическое страдание Гребенникову: по той причине, что во времени и в пространстве между ними, исходной и конечной точками возмездия, втесались разные исторические лица, в основном — знаменитейшие писатели всех веков, всех народов. Но вот как все произошло:

...Душная июльская ночь заставила Ивана Геннадиевича отворить окно настежь, хотя он не любил даже занавески раздвигать: с улицы могли подсмотреть, увидеть сокровища, ограбить однокомнатную холостяцкую квартиру Гребенникова, расположенную, между нами говоря, на седьмом этаже.

Проиграло двенадцать, а он не мог заснуть, лежал в пижаме на кушетке, тоскливо смотрел на свои сокровища: три тысячи томов, уставивших в идеальном порядке обе свободные от окна и дверей стены — от пола до потолка. Чего здесь только не было? Но мир книг — мир песчинок, столько их написали досужие люди. И хотя, действительно, стены комнаты были заставлены шедеврами, все же, не кривя душой, сам себе с горечью говаривал Иван Геннадиевич: «Скорее можно сказать, что здесь есть, чем чего здесь нет!»

Сегодня он вернулся поздно, фотографировал на роскошной свадьбе: роднились через детей династии из 3-го горпищеторга «Гастроном» и треста мелкорозничной

торговли. После съемок забегал к себе в ателье проявить пленки, развесил их для сушки и пошел домой.

— Да-аа,— с зевком подумал,— завтра встать пораньше, отпечатать десятка четыре фотографий...— Так было обещано матери невесты, главной устроительнице свадьбы. Счастливые родители хотели уже на второй день раздать цветные фото в заграничного покроя продолговатых конвертах наиболее видным гостям.— Эх, рано вста-а-авать!

Он зевал, зевал, тоскливо глядя на книги, но сон не шел. А тосковал Иван Геннадиевич по простой, непонятной для обычного человека, но животрепещущей для истинного книголюбца причине: в роскошной загородной вилле (никто, конечно, не осмелился бы назвать ее сиротским словом «дача») родителей невесты, где гремела свадьба, фотографу отвели для подготовительных и регламентных работ с аппаратурой комнату-библиотеку, аккуратно, как у самого Ивана Геннадиевича, уставленную всеми дефицитными изданиями, вышедшими на территории СССР с 1957-го года, то есть с года, когда нынешняя хозяйка окончила торговый техникум и получила свою первую должность: заведующей районной базой сыродельной продукции, с которой получила доступ ко всему дефициту сначала в пределах района, а впоследствии, вырастая в должности,— в пределах всей области, даже — экономического района.

Перезаряжая оба фотоаппарата и кинокамеру, Иван Геннадиевич не отрывал глаз от полок. Покончив с работой, взял с принесенного загодя рачительной хозяйкой подноса бутылку масандровской мадеры (крепких напитков он не пил с тех пор, как однажды после пары стаканчиков водки потерял чувство соразмерности и невыгодно перепродал подписку Золя), хлопнул рюмку-другую, закусил копченой лососиной, скушал в аппетит икройной бутерброд, покосился на запертую изнутри дверь — «Осторожно — фотоработы!» — и, предвкушая удовольствие необычайное, начал двигаться вдоль полок, любуясь сокровищами полиграфического искусства. Книги были новенькие, не читанные, даже руками только раз опоганенные: когда на полку ставили. Сердце книголюбца засветилось избытком счастья при виде столь новехоньких томов. Из всей библиотеки только пять-шесть томов Дюма (дочка в школьные годы, в летние каникулы), том Флобера (хозяйка брала на юг на пляже лицо укрыть, развернув посредине), да мемуары Черчилля носили следы более подробного ознакомления. Кстати о Черчилле. Хозяин как-то в смерть поругался с супругой, заточился от мира сего в библиотечной комнате, выдержал два дня без вина, от смертельной скуки читал Черчилля, привлекшего его внимание скандально знаменитой фамилией. Да кому было читать? — Это деловой-то хозяйке, вечно в хлопотах, несущей на себе бремя должностных, общественных, семейно-хозяйственных забот: квартира в городе, вилла, опять же резервный, законсервированный в городе кооператив для дочки, автомобиль, гараж при нем, второй дачный участок, записанный на мужа... Или мужу-сибариту, толстяку, добродушному, непросыхающему любителю армянского коньяка, а в опале всех иных вин и настоек, было время читать? И уж, конечно, не дочке, только начавшей отдыхать от трудностей спецшколовской усложненной программы с французским прононом, тут же повстречавшей будущего спутника жизни.

Сердце Ивана Геннадиевича пело и страдало. Пело от счастья близости к нетронутым, девственным сокровищам, невыносимо же страдало от сознания их чужой принадлежности. Несколько раз сердце едва не останавливалось, когда взгляд наткнулся на том, который ему лишь во сне являлся. А один раз екнуло в груди, сердце действительно на пару секунд притормозило, когда взял в руки нечитанный, скрипящий прекрасным, кирпичного цвета кожзамениателем обложки том романов первоизданного Михаила Афанасьевича Булгакова, тот самый: год выпуска 1973, тираж — 30 000, цена — 1 р. 53 коп. Ах, эти «Романы»! Как они вызывающе значились на пер-

вых листах во всех поисковых списках книголюбов: коллег, друзей, врагов Ивана Геннадиевича одновременно. Правда, он не помнил точно, какие там романы напечатаны, но — ах! Ах! «Романы!» «РОМАНЫ!»

— Господи! — молил он бога в запертой на задвижку библиотеке, — господи! Порази громом всех хозяев, гостей. Нет, он не побежит тотчас за «левым» грузовиком, чтобы до приезда «Скорой», милиции вывезти все сокровища, нет, он только одного красно-кирпичного Булгакова сунет на дно пузатенькой сумки с фотопринадлежностями и тихо-мирно уйдет. Дома же поставит книгу на лучшее место и будет, лежа на кушетке, наслаждаться видом корешка:

М. А. БУЛГАКОВ. «РОМАНЫ»

Иван Геннадиевич раззевался, сон не шел, а ведь завтра работать спозаранку? Булгаков вертелся в голове. Сегодня Иван Геннадиевич только усилием воли заставил правую руку выдернуть из мертвой хватки левой драгоценный том и поставить его на полку. Не оглядываясь, подальше от искушения, он подхватил аппаратуру, запер за собою комнату, пошел фотографировать пьяных гостей, сияющих от счастья новобрачных.

Пробило полпервого ночи. Иван Геннадиевич осторожно присел на подоконник, посмотрел на синие фонари улицы, какая-то нехорошая мысль подспудно созревала в его голове насчет завтрашнего дня. Он гнал ее. По причине лета тихо смеялись за полночь парочки во дворе, громко бахвалились подростки — начинающие хулиганы. Именно в этот момент полуночник и меломан сосед негромко, но явственно включил музыку: это в час-то ночи?! Тоска терзала, когтила сердце Ивана Геннадиевича. Он мрачно прислушивался к затененным мощным звукам, шедшим из соседнего, тоже растворенного настееж окна. Меломан-лунатик в час ночи слушал Вагнера. Волнение рейнских героев неожиданно захватило Ивана Геннадиевича. Гибли боги, музыка являла собой величественное сочетание высшей гармонии, импульса мощи, надежды, оптимизма. Это на миг ослабило тоскующего, терзающего сердце зверя, но зажужжала случайно проснувшаяся муха и все испортила, вновь он был схвачен тоской, поймал муху-полуночницу, с остервенением хлопнул ладонью о подоконник, брезгливо вытер руку о полу пижамы. Музыкальный ритм все замедлялся, густела, нарастала тревога. Ворвались медные звуки: кровава-мутное солнце затопило тревожным светом долину Рейна. В блистающих шлемах стеной стояли гигантские воины, вонзив в берег копьа. Великаны стояли и в траурной ладье с телом Зигфрида. В исходе тоски, величия гибели богов Рейна звенела на невыносимой ноте музыка, тревога будоражила людей, мурашки густо кропили кожу от звуков этой нечеловеческой, тревожной, чарующей музыки, а Иван Геннадиевич с остервенением стал расчесывать прыщик, вскочивший на щеке... Выпив стакан кефира, он улегся под несвежую простынь, еще с четверть часа поворочался и уснул-таки, упрямил сон забрать его.

◆ На следующий день, в субботу, Гребенников с шести утра, на первом трамвае добрался до ателье, своим ключом открыл запасной вход, поднялся в лабораторию, снял с веревок высохшие пленки, в самое короткое время отпечатал, отглянцевал нужное число фотографий: самых моментных. К назначенному времени прибыл к месту сбора гостей и в заарендованном туристском «Икарусе» был отвезен вместе с хмурыми с перепоя застольщиками на свадьбу. На месте позавтракал, занялся делом, стараясь не смотреть на заветный том, не вспоминать вчерашние нехорошие мысли.

В одиннадцать он договорился с понятливым братом жениха, непьющим еще девятиклассником, чтобы тот пару часов пощелкал гостей, тем более, что наступило время малоответственное: решено было выйти просвежиться в сад к расстеленной там скатерти-самобранке. А сам Иван Геннадиевич на попутной машине разъездного

гостя свадьбы укатил в город на обычное дежурство у «Букниги». С одиннадцати до обеда было самое продуктивное время. У магазина поздоровался с коллегами, занял обычную позицию на подступах. Задача заключалась в отлове идущего в магазин сдавать книги простака, в перекупке за бесценок случайно оказавшейся у того приличной, а то и вовсе раритетной вещи.

Сегодня клиент шел слабо, вяло: день выдался жаркий, люди разбрелись за город. Редко-редко шли в основном страдающие опохмелиться, несли всякую чушь: школьные завалившиеся учебники, выкраденные у жен журналы мод, разрозненные номера «Науки и жизни». Иван Геннадиевич уже жалел, что поехал: это от коньяка — чуть-чуть можно не на торговле! — и разносолов-то? Время от времени поглядывал на часы: к двум непременно надлежало вернуться, ибо с 14:00 начиналась серьезная работа. Мать невесты планировала специальные групповые съемки на природе, в саду. Предполагалось отснять короткометражный фильм. Все приурочивалось к двум часам, ибо именно к этому времени на свадьбу ожидался настолько важный, занятой гость, что и своей-то свадьбе, включая официальное открытие медового месяца, мог, наверное, уделить только час-другой. По предварительной договоренности с хозяйкой, за фотокинообслуживание по первому классу Иван Геннадиевич должен был получить приличную сумму. Он уже мысленно распорядился: в какие книги вложить внеплановый доход.

Гребенников совсем было собрался уходить после того, как некто небритый попытался продать ему брошюру с биографиями передовиков местной мукомольной промышленности, но в этот момент, почти по сверхнаитию, он поставил уши топориком, придвинулся к двум беседующим гражданам; один из них был Борис, коллега по увлечению фотографией, другой — случайный прохожий, толстый улыбчивый парень. Последний, профан в книжном деле, удивлялся: чего это солидные люди толкаются с утра до вечера, как он заприметил, будто у магазина «Автомозапчасти»... Его собеседник вкратце, упрощенно, для народа, рассказал о сути благородного дела книгособирательства, о выдающихся книжных редкостях. Перечисляя последние, само собой упомянул единственное пока издание Булгакова. Начиная с этого момента разговор приобрел для Ивана Геннадиевича весьма интересную подоплеку:

— Булгаков? Это о белогвардейцев, что ли? Есть у меня такая книжка, а я не знал, что редкость. Красная такая, да?

Борис подавился слюной.— Откуда? Где взял? У кого купил?

— Да я не покупал. Что у меня деньги казенные, такие толстые книги покупать? Отец из Монголии привез, он увлекается такими: о шпионах, войне. В Дархане строителем работал, купил в тамошнем магазине. Я сам прочитал первый роман про белогвардейцах. Так себе, а дальше какой-то бред про котов, чертей... Один парень, со мной работает, предлагал два тома маршала Жукова. Пожалуй, сменяю, папашка как-то просил достать почитать...

Здесь Борис сделал непростительную для опытного, профессионального ловца глупость:

— Да что ты! И не вздумай! Ей под сотню цена! — Тут же спохватился, но со стороны на них уже набегали книжные ловцы. Когда Иван Геннадиевич ворвался в толпу, всюю шел аукцион: предлагали «Виконта» в 3-х томах, Кристи с Сименоном в купе, кричали: «Даю полста! — Семьдесят! — Семьдесят пять! — Конан-Дойла три первых тома и тридцать сверху!...»

Парень, не дурак вообще, живо смекнул, что дело темное, раз народ спешит отвалить такую капусту, как бы впросак не попасть, не продешевить. Скоренько он распрошарлся с собеседником, ласково растолкал толпу хиловатых телом книголюбов и пошagal к себе. Несколько человек увязались за ним, в том числе опешивший Иван

Геннадиевич. Аукцион продолжался на ходу. Постепенно парень погрубел от назойливости, отшил помаленьку всех, кроме скромно, устремленно шагавшего позади остальных Ивана Геннадиевича. Оставшись наедине, последний повел речь. Она была убедительна, долга, красноречива, но парень оказался твердым орешком, даже очень себе на уме. Захлопнув калитку частного и личного одновременно дома, он на прощанье неизменно ласково улыбнулся Ивану Геннадиевичу, доведшему цену до восьмидесяти пяти.

Калитка захлопнулась, взялая кобель, норовя перескочить забор, а Иван Геннадиевич, запомнив адрес, проклиная всех на свете, помчался назад: парень жил в пригороде, трамваи в субботу из этих мест не ходили — студенты лениво ворошили рельсы. Он опаздывал. На часах было без четверти два, когда он пробегал вспять мимо «Буккниги» на площадь, где можно было поймать такси или частника; на автобусе уже не успевал. Он клял всех на свете парней «себе на уме», пропали золотые минуты, ибо перед уходом с поста он хотел полчаса, с полпервого до часу постоять в самом магазине у окошка сдачи. Сегодня там работала Ниночка, хорошая знакомая. Именно в эти полчаса, по личным статистическим данным, приносили самые интересные книги, а Ниночка что угодно отдала бы ему, не зря раз в год Иван Геннадиевич обновлял витрину своего ателье художественным портретом стремившейся к замужеству продавщицы-товароведа.

Но здесь без того горестные мысли прервал удар, но не грома; удар попал блестящими в глаза, отскочив от кирпичного цвета обложки книги, что несла в руке выходящая из магазина молоденькая девчушка. Инстинктивно, вместе с толпой перекупщиков, Иван Геннадиевич двинулся на нее, та испуганно пискнула, бросилась к поджидавшему ее спортивного покроя парню, с которым поспешно удалилась. Иван Геннадиевич бросился к площади, все же соображая, что решительно опаздывает на свадьбу. Краем уха он слушал рассказ увязавшегося за ним, также расстроенного Бориса. Оказывается, Ниночка накануне гуляла с подругами на девешнике, перегуляла, а сегодня с перегуливания перепутала все те дефицитные имена, что годами нащептывали ей в книжном сладострастии друзья из перекупщиков, Иван Геннадиевич тож. Поэтому, когда какой-то школьник, видимо коллекционер марок, сдал ей Булгакова, она, пролистав начало и уловив белогвардейскую терминологию, решила — товар рядовой, отдала книгу вместе с охапкой ранее профильтрованной литературы на прилавок. Виталия Евгеньевна, старший продавец, тоже пропустила мимо глаз. Книгу же взяла случайная девица, причем, как вспоминал теперь Борис, долго обдумывала: не дорого ли рубль-пятьдесят? На три копейки книгу уценила перегулявшая Ниночка.

Конец истории печален. Не удалось Ивану Геннадиевичу угнаться за третьим зайцем: на площади такси не было, только через четверть часа он сумел взять подозрительного частника, но на выезде из города того остановил гаишник, принялся, уловил и занялся составлением протокола. Так как от Ивана Геннадиевича тоже пахивало после свадебного завтрака, то для выяснения взаимоотношений водителя и пассажира, кстати незаконного, обоих довели на патрульной ГАИ сначала в дорожное управление, а потом, поскольку Иван Геннадиевич повел себя нервно, неправильно, последнего для острастки отправили в вытрезвитель.

В понедельник он заехал на виллу за аппаратурой, которую ему молча выдала нанятая прислуга, занятая уборкой. За фактически проделанную работу Ивану Геннадиевичу заплатили по копеечному тарифу Бюро добрых услуг, причем по почте, через ателье, где без того профком готовил кары для нарушителя общественного порядка.

Иван Геннадиевич слегка тронулся, по-прежнему стойко дежурит у бумага. Недавно он громко рассказывал Ниночке, всем любопытным у окошка сдачи, что ночью

являлся к нему сам Михаил Афанасьевич, предлагал рукописи всех трех романов за полторы сотни.

— Денег не было дома! — сокрушался Иван Геннадиевич. Опять неудача. По справке из дурдома ему дали группу.

◆ — Господи! Направь мою руку по верному пути, опять я отвлекся. О чем это я? Да-да, наконец Чертопанов перешел на «Ватру». Вот на другой день после этого события я узнал про Егорова.

Егоров сидел в нашей комнате. В отличие от большинства работников сектора, а точнее — всех остальных, людей пишущих различные проекты, рефераты, отчеты, технические задания, критики на чужие отчеты, Егоров работал с приборами. Почему он это делал? — Точно не знал даже Филимонов. Просто когда-то, очень давно, весь сектор работал с приборами, наравне с остальными секторами лаборатории. Но после очередной генеральной реконструкции структуры СКБ сектор выпал в самостоятельную, в основном, бумагосочиняющую единицу, а Егорова попросили доделать начатую им работу. У всех отобрали, вынесли из комнаты приборы, подравняли в ряды письменные столы, оставив в углу пару кульманов для женского уголка, выдали дыропробиватели, бумагу, папки, шариковые ручки по сорок копеек штука. Егорову же оставили лабораторный стол с приборами. То ли он до сих пор не доделал работу, то ли бесконечно развивал, дополнял ее, страхась пересест за голый полированный канцелярский стол, но он так и сросся со своими ящиками. К этому привыкли, уже давно никто из начальства не пытался отобрать у Егорова его цацки. Над ним посмеивались, но в душе кое-кто завидовал: делом человек занят, не бумагами.

Вот этот Егоров, худой, с усами, лет тридцати пяти, очень спокойный, малоразговорчивый, тихий, целыми днями просиживал перед петляющим синусоиды осциллографом, все время чего-то высматривал на экране, дымил канифолью — паял.

А теперь — причем тут Егоров и исчезновение из открытой продажи сигарет с фильтром третьего, четвертого класса и поголовным переходом на «Ватру»? Но связь оказалась самая живая, непосредственная: не будь неполадок в торговле табаком, я бы никогда не узнал о происшествии, заставившем меня засомневаться в собственном рассудке.

Так вот, тот день не предвещал никаких новостей: ни аванса, ни расчета, ни премиальных. Футбола-хоккея по телевизору, судя по программе, тоже не ожидалось. С утра тянуло в сон.

— Дождь будет, гроза,— объяснил нам позевывавший Филимонов. Поговорив о том, о сем, весь сектор снялся с места, ушел на первый перекур. Разговор сразу завелся на злобу дня: все вынули мятые пачки «Ватры», взглянув друг на друга, рассмеялись. Особенно смеялись над Чертопановым; он, привыкший к фильтрам, неумело сосал сплюсненную сигарету, сплевывал льнувший к губам табак. Он сам смеялся своей неловкости. Позже всех вошел Егоров. В отличие от нас, письменных, он не мог сразу оторваться от стула и уйти.

Я уже настолько вошел в колею местной жизни, что вместе со всеми подшучивал над несколько рассеянным Егоровым. Еще раньше, услышав от него, что всю жизнь он курил только «Приму», а когда та совсем исчезла, перешел на «Ватру», вытащил толстенькую неряшливую сигарету, помял по привычке примно-ватрового курильщика, сдул табак, закурил. Что это он? — Из оригинальности или своеобразного табачного нонконформизма, как бы сказал грамотей Валерка Овцовский: даже любимыми сигаретами жертвовал, чтобы не быть похожим на всех?.. Да, действительно, человека не узнаешь полностью, пока пуд табака с ним не выкуришь.

◆ Так вот, я притворно изумленно — конечно, я изумился, но притворился для шутки, что, дескать, изумление мое сверх всякой меры, каким не бывает обыкновенное, непритворное изумление — уставился нарочито поглупевшими глазами на Егорова:

— Ты что, Жень, весь народ на «Ватру», а ты на «Дымок»?

Слова мои прогремели громом; все знали не год, не два, что Егоров всему на свете предпочитает теперь, после славной кончины «Примы», сигареты с топориком гуцульского образца. Теперь же все с изумлением раскрыли рты, выпустив клубы нефильтрованного, крайне низкосортного дыма. Егоров смутился всеобщим вниманием: кто смотрел с искренним изумлением, кто настороженно, с некоторой даже обидой, кто еще как. Он не привык быть в центре внимания, наш угловой, загороженный железками, проводами Егоров, не начальник, не секс-лаборантка Шуручка из двенадцатого отдела...

— Да это я так, в буфете нашем на заводе вся «Ватра» вышла, вот... только эти,— растерянно пробормотал он, покраснев до усов. Даже усы вроде поярчели у него.

— А-а, так что не сказал, принесли бы. Я тебе завтра пачек десять возьму,— позаботился Васильев. Интерес сразу померк, глаза оторвались от Егорова, люди вновь попарно, по-трое заговорили о своем.

— Не надо, не беспокойтесь,— запоздало засуетился Егоров,— сегодня с утра я договорился с буфетчицей: у них целый ящик есть на складе, просто грузчика не было, опохмеляется он, некому было перетащить, а завтра обещала.

— Ну, как знаешь, мне-то нетрудно,— пожал плечами Васильев. И отвернулся.

Егоров сосал свою непривычную толстенькую сигарету, медленно отходил от краски. Я же по инерции шутки и розыгрыша, глуповато сострил:

— А ты, Жень, здесь, в СКБ живешь, что на буфет только ориентируешься?

— Да.

Если бы грянул гром в курилке из облака низкосортного дыма, я бы поразился меньше. Честно говорю вам.

Потом я рассмеялся: неужели был миг, когда я поверил... да это, конечно, была простая, безыскусная, даже усталая (Отвяжитесь, мол, ребята, пожалуйста) шутка самого уставшего от непривычного общего внимания простого, бесхитростного Егорова. К тому же вечно озабоченный, нет, скорее усталый — он видно полностью выкладывается на работе, вот я так не умею, обязательно остается некая, может приличная, доля энергии для себя, «для дома, для семьи»,— как говорят в нашем инженерном кругу. А Егоров был из тех натур-трудяг, что не умеют, просто не хотят угаивать что-то для себя. Ведь как бы рано утром я не приходил на работу, всегда заставал Егорова. А что греха таить, в первые-то дни, как всякий служащий на новом месте, лицемеря, старался приходиться на 15—20 минут, а то и на полчаса пораньше. Кому не хочется зарекомендовать себя, показать в лучшем виде свою дисциплину, рвение, попасться на глаза начальству, ибо тогда еще не ведал теплой обстановки в секторе. И точно также, вроде совсем без дела, в первую неделю задерживался после звонка на десяток минут, когда женщин, молодежь ветром выдувало, а постарше, кого мало ждало радости дома, оставались постучать в шахматы-пятиминутки... так вот, как бы рано я не приходил, Егоров уже сидел перед чирикающим синусоиды осциллографом, как будто с вечера не уходил домой. Паяльник дымился вовсю — значит включен как минимум десять-пятнадцать минут назад. А когда я уходил вместе с Филимоновым, последним все равно оставался трудяга Егоров. Он кивал нам головой, брал, не глядя, из рук Филимонова медную печатку с ключом от комнаты, оставался сам-един в полупотушенных огнях опустевшей комнаты.

Так вот, из-за глупого — теперь же говорю: из-за вещего — удивления, недоумения, поражения, как хотите, я помедлил две-три секунды, только потом вежливо, в

тон скромной, дежурной шутке рассмеялся. Другие же, стоявшие рядом в курилке, никакого внимания на ответ Егорова не обратили, мне даже показалось: холодновато, хотя и коротко, мимоходом как-то взглянули на меня с этим моим вежливым, легким смешком.

♦ Так бы и кончилось этой не совсем ловкой — для меня впрочем непонятно: почему неловкой? — шуткой, так бы я ничего не узнал; повторяю, не потому, что люди вокруг меня были настолько равнодушные или настороженные, скрытные, что это из ряда вон выходящее происшествие не замечали, либо, наоборот, скрывали. Нет, лишь потому, что все давно привыкли к нему, а привычка — уже норма жизни, не новость, хотя в первые дни, даже недели, новость-то была сногшибательная. Просто норма! А к норме привыкают, не замечают ее обыденных проявлений: каждодневных, монотонных, равно как не удивляются, что по утрам завтракают, в полдень обедают, что снег белый и т.п. Скорее удивляются, негодуют, когда не совсем нормальная-то норма нарушается. Не говорю о нарушении нормы обыденной, когда, например, жена завтрак не подаст. Вот также было с Егоровым. Меня же просто забыли проинформировать.

Холодное отношение — или мне показалось? Настроенному переменой в жизни — новая работа, люди, начальники, весь ритм, уклад служебной жизни... — вот эти холодные, короткие взгляды в мою сторону тогда в курилке насторожили еще более, усугубили мою тогдашнюю чрезмерную, если не болезненную чувствительность к каждому взгляду, к каждому жесту. Не только важнейшая для служащего перемена в течении жизни — переход на другую работу — были причиной моего крайне встревоженного состояния. Дело еще в том, что я не мог уже без страха, самого настоящего, панического, садиться по утрам, равно как по вечерам, на свой несчастный девятый номер трамвая. Ох, эта еще недавно столь известная всему городу «девятка»!! Скольким сотням людей впечатлительных, робких, вежливых до времени выседела волосы! А причиной было то, что трамвай по этому самому длинному тогда в городе маршруту почти полчаса тащился через старое Носково, ныне, к счастью, снеженное подчистую, скопище деревянных домишек, построенных чуть не двести лет тому назад, заселенных потомственной мастеровщиной с нравами, ничуть не изменившимися со времен растеряевских. Этаким экзотический оазис в географическом центре города...

Мой отдаленный — по жене — родственник, дед, как его звали в глаза и за глаза, Николай Финогенович Барулин, человек заслуженный, фронтовик, также живущий в нашем микрорайоне, вообще перестал ездить на «девятке», при крайней необходимости добираясь в центр на автобусе с тремя пересадками. А перестал он ездить на несчастном трамвае после истории, которую, подвыпив по праздникам, рассказывал, багровея лицом, под конец так вовсе дубася кулаком по столешнице. История, действительно, возмутительная, но как нельзя лучше характеризующая нравы «девятки», ее обитателей.

(Окончание следует)

